



Джереми Рид

ИЗИДОР

Роман о жизни графа де Лотреамона

KOLONNA
PUBLICATIONS



2008

МИТИН
ЖУРНАЛ

ББК 84 (4 Вел)

Серия «Сосуд беззаконий»
является совместным проектом
издательств “KOLONNA PUBLICATIONS”
и «МИТИН ЖУРНАЛ»

Jeremy Reed
ISIDORE

Перевод с английского Татьяны Покидаевой

*Благодарим автора за поддержку,
а Tears Corporation за предоставление
прав на эту книгу*

Редактор: Анастасия Грызунова
Оригинал-макет и верстка: Сергей Фёдоров
Обложка: Сергей Жилкин
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

© Jeremy Reed, 1991
© Татьяна Покидаева, перевод, 2008
© KOLONNA PUBLICATIONS, 2008
ISBN 978-5-98144-112-7 © Митин Журнал, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

*Кто знает? Интервью Изидора Дюкасса,
графа де Лотреамона*

Часть первая

Соглядатай: Раз

Глава 1

Соглядатай: Два

Глава 2

Соглядатай: Три

Глава 3

Соглядатай: Четыре

Глава 4

Соглядатай: Пять

Глава 5

Часть вторая

Соглядатай: Шесть

Глава 6

Соглядатай: Семь

Глава 7

Соглядатай: Восемь

Глава 8

Флобер нам сегодня рассказал: «События, фабула романа мне совершенно неинтересны. Когда я пишу роман, я стараюсь добиться оттенка, цвета. Например, в карфагенском романе я хочу создать нечто пурпурное. Ну, а все остальное, персонажи и сюжет, – это просто детали. В „Госпоже Бовари“ я хотел только передать серый цвет, цвет плесени, в котором прозябают мокрицы. Фабула романа так мало занимала меня, что еще за несколько дней до того, как я приступил, госпожа Бовари была совсем иной – набожной и ярой старой девой, хотя в той же среде и при том же колорите. А потом я понял, что такой персонаж невозможен».

*Дневник братьев Гонкуров
17 марта 1861 г.*

КТО ЗНАЕТ?

Интервью Изидора Дюкасса, графа де Лотреамона

Пустыня Сахара. Белый стол, белые стулья. Над собеседниками натянут белый навес. 9

Корреспондент: Вы застали полное издание «Песен Мальдорора»*, выпущенное Лакруа и Фербукховеном в 1869 году в Брюсселе. Из-за проблем с цензурой книга не получила широкой известности и почти полвека оставалась подпольной классикой. Отчего она исчезла так надолго?

Лотреамон: В то время поговаривали о возрождении Сенского трибунала. На закате Второй Империи невозможно было опубликоваться – могли обвинить в оскорблении общественной нравственности. На сколько я помню, Эварист Карранс напечатал отрывки в антологии «Ароматы души», а в ежемесячном «Бюллетене библиофила и библиотекаря» появилась небольшая заметка – вот и все.

Корреспондент: Стало ли для вас неожиданностью, что сюрреалисты поставили вас в один ряд с Бодлером и Рембо, объявив революционным поэтом, чьи работы принадлежат скорее двадцатому веку, нежели девятнадцатому?

Лотреамон: В то время я уже был в пустыне. Это мой эвфемизм для обозначения состояния, в коем я пребываю ныне. Видимо, сам того не сознавая,

* При переводе романа использовались цитаты из «Песен Мальдорора» в переводе Н. Мавлевич.

я освободил поток сознания. Я очутился во взрывной эпохе. Старый роман с его формализованным сюжетом был мертв. Поэзия с ее унаследованным классицизмом утратила всякий смысл. Я устремлялся, не стремясь, к некоему бунту. Мне разом хотелось вернуться к примитивизму и добиться самой современной образности.

Корреспондент: Вы жили в бурные времена. Вам, наверное, не хочется говорить о вашей юности в Монтевидео и о последних годах в Париже, перед вашим исчезновением в 1870-м?

Лотреамон: В письме к своему издателю Фербукховену, датированном, как вы уверяете, 23 октября 1868 года, я выразил мысль, которую теперь часто цитируют. Я назвал «Песни Мальдорора» «началом публикации, которая завершится позже, после моей смерти. Оттого финальная мораль еще не определена». Впереди были Коммуна и осада Парижа прусскими войсками. Я писал вопреки сопротивлению, утвержденному моей смертью, хотя и был убежден, что умру, откликаясь на внутреннее побуждение, а не из-за революции. У меня уже зародилась мысль, что мою работу подхватит новое поколение – и завершит в катастрофических потрясениях нового яростного века.

Корреспондент: Наверное, вы были слишком тесно связаны со своей книгой, а потому не сознавали ее истинного значения. Любопытно, как бы все повернулось, знай вы, что Рембо было шестнадцать, когда вы исчезли, и к тому времени он уже написал несколько лучших своих провидческих стихотворений? Я все же придерживаюсь теории, что он читал «Мальдорора», прежде чем попрощался с поэзией в «Одном лете в аду». Как еще объяснить эту самоуничижительную пиротехнику, эти галлюцинаторные видения, что словно бы взросли из семян вашей книги?

Лотреамон: Может, потому мы и встречаемся в пустыне. Однако нет – просто мы оба открыли подзнание в то время, когда другие еще не постигли его потенциала. Сейчас мы с Рембо знакомы, но в ту пору еще не знали друг друга. Он бежал в пустыню, спасаясь от видений, что грозили ему безумием. Видимо, я был невозмутимее. Свой бред я изливал в песнях. Критики полагали, что я был душевнобольным и последние годы в Париже провел в сумасшедшем доме. Будто бы я ел бумагу и писал кровью на стенах палаты. Оценивая свое прошлое – насколько это возможно в свете опыта, – я думаю, что мой характер не был столь необузданным.

Корреспондент: Интересно, что побудило вас к работе. Андре Бретон назвал «Песни Мальдорора» «невыносимо блистательным, необыкновенным, превосходящим человеческие возможности откровением», а Генри Миллер писал о вас так: «Его предшественником был Джонатан Свифт, а главным мучителем – маркиз де Сад». На мой взгляд, эти утверждения превращают вас в некую абстракцию. Они лишь подкрепляют представление о человеке, которого, возможно, и не существовало вовсе.

Лотреамон: Вряд ли я вообще писал для читателя. Помню, меня словно нес поток, и его мощь понуждала меня к уединению. В первой редакции «Мальдорора» упоминался Жорж Дазэ, мой бывший школьный товарищ, но потом я вычеркнул его. Решил, что особо нет смысла цепляться за людей. Имплизии – элемент психической непосредственности. Скажем, взаимоотношения зонтика и швейной машинки открыли дорогу для новой манеры визуальных метафор.

Корреспондент: В своих «Стихотворениях» вы писали, что «бороться против зла – значит оказывать ему слишком много чести». Все ваши работы пронизаны ощущением, будто их писал человек, чье видение так

ясно, что его не могут ограничивать пространство или время. Быть может, литература – случайность? И вы с тем же успехом могли стать торговцем оружием, как Рембо?

Лотреамон: На этот вопрос я могу ответить лишь отчасти. Очевидно, поэзия, благодаря ее особым синтезирующим свойствам, улавливает внешние события через обращение к личным кризисам. Но, с другой стороны, Рембо умер особенной смертью. Я же был всего лишь зарегистрированным свидетельством о смерти номер 2028 за подписью хозяина отеля и кого-то из обслуги. Вопрос остается открытым: был ли я временно похоронен на Северном кладбище или жил дальше в ином теле. И если да, разве тот другой человек менее реален, нежели сидящий сейчас перед вами?

Корреспондент: Опять же, если позволите, я процитирую современное прочтение ваших работ. Андре Бретон утверждает, что «Мальдорор» – «подлинный манифест конвульсивной поэзии». Почти ассоциативно мы сопрягаем вас с литературным движением, которое появилось полвека спустя после «Мальдорора». Вероятно, отсюда и происходит биографическая неразбериха. Вы увидели бы первые десятилетия двадцатого века, прожили вы целую жизнь.

Лотреамон: Как я понимаю, ваш вопрос подводит нас напрямую к интерпретации литературы. В каждой эпохе есть период, что называется, идеологической напряженности. Годы моего детства в Южной Америке отмечены политическим мятежом. Наверняка это отчасти определило садистское изуверство «Мальдорора». А как еще объяснить странные девиации в моей работе? Соитие с акулой, краб забирается ко мне в прямую кишку, Бог навещает бордель, детоубийства, убийства, свора псов набрасывается на путника. Это будет одно прочтение. Но я хочу

подчеркнуть, что «Мальдорор» обитает в «черных безднах и тайных извилинах душ». Ныне существует более внятный словарь для описания внутренних состояний, но меня привлекали не столько метафизические преисподние По, сколько ментальные образы. Непреходящий душевный взрыв. Я уже нашел тон отвращения, которым наслаждался у Бодлера, но мне хотелось довести сам язык до точки разрыва и исследовать сексуальные фантазии, что стали бы патологическими, если бы воображение не перенесло их в поэтический контекст.

Корреспондент: Сегодняшние ваши темные очки и белый костюм подчеркивают едва ли не предсказуемую неопределенность, что всегда окутывала вашу личность. Ранее в связи с вашей работой я упоминал Рембо, но в этом веке ваше «конвульсивное» воображение, по видимости, унаследовал Жан Жене. В его ранних романах явно присутствует та же склонность к экстравагантным ритуалам и погружению в столь же опасные сексуальные фантазии. Вы не хотите что-нибудь сказать по этому поводу?

Лотреамон: Вполне естественно, что чужак, человек, убегающий от себя, сексуальный и социальный изгой должен так или иначе разделять мои склонности. Ну, мои бывшие склонности. Нужно помнить, что после краткого напряженного периода, когда я писал «Мальдорора», я обрел другие измерения. То было время нереализованного надрыва. В поисках нового способа выражения я сталкивался с будущими чертами нового века. Всемирная война и открытие духа. Но я пережил это раньше, на внутреннем плане. Неразрешимые этические проблемы по-прежнему буйствуют на страницах моей книги.

Корреспондент: То небольшое, что мы знаем о вашей жизни, в основном почерпнуто из воспоминаний вашего школьного друга Поля Леспеса. Он описал

вас, когда ему уже стукнул восемьдесят один год, так что, вероятно, есть причины сомневаться в точности портрета. Он упоминает ваши длинные волосы, пронзительный голос, непримиримость, экстравагантные образы в ваших школьных стихах. Но миф о вашем безумии подкреплён замечаниями типа: «то раздражение, которое Дюкассу случалось проявлять без всякой на то причины – все эти странности приводили нас к мысли, что его разуму недостает уравновешенности». Леспес также припоминает ваше школьное сочинение «La folle du logis», позволившее вам, как он выразился, «с потрясающим избытком деталей набросать самые ужасные картины смерти: переломанные кости, свисающие внутренности и превращённая в кашу кровоточащая плоть». Есть ли в этих утверждениях хоть доля правды?

Лотреамон: Здесь мне следует быть осторожным. Есть миф о писаниях и миф о человеке. Как их различить? Воображение преобразует реальность в вымысел. Слова – это вымысел, они изменяют наше видение или восприятие мира. И поскольку действие слов – забота поэта, он выбирает одно из двух: либо становится плодом своих слов – то есть мифологизирует себя, – либо четко разграничивает себя и свою поэзию. По моему опыту, они неразделимы. Садизм интересовал меня в связи с книгой, которую я писал, а значит, возможно, был свойствен моей натуре.

Корреспондент: Много ли вы помните из смертной жизни?

Лотреамон: Не так много, как при жизни. Это как фильм, только ускоренный, и нам представляется, будто сама жизнь направляет камеру, независимо от нашей воли, а стало быть, мы за сознание не отвечаем. Моя жизнь разделилась примерно надвое. Детство в Монтевидео и «французский» период в Тарбе и затем в Париже. Я был одиноким ребенком,

детство мое прошло во французской колонии в Южной Америке, но красоты природы вкупе с моим ощущением чужеродности помогли мне создать видение одиночества, которое впоследствии я воплотил в «Мальдороре».

Корреспондент: Когда появляется книга, подобная «Мальдорору», книга, которая так радикально смещает сознание, истеблишмент встречает ее молчанием, которое всегда означает, что дар еще ждет открытия. Вам особенно повезло, что вы обрели столь красноречивого и революционного представителя в Андре Бретоне. Что внедрило «Мальдорора» в европейский литературный мейнстрим – удача, случайность или замысел?

Лотреамон: Здесь такой свет, в пустыне. Режет глаза. Никак не привыкну, хотя уже столетие прошло. Возвращаясь к вашему вопросу: в пылу создания «Мальдорора» я, пожалуй, не думал о будущем книги. Вы мне напомнили, что я писал о своих намерениях: «Ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума, вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением, иначе смертельная отравка пропитает душу, как вода пропитывает сахар. Не каждому такое доступно, лишь избранным дано вкусить сей горький плод и не погибнуть». Юношеское предостережение или истина? Те, кто подхватил мою нить, сохранили ее непрерывность в своих работах. Но ведь так всегда и бывает?

Корреспондент: В «Мальдороре» вы сознаетесь в страшных преступлениях, которые мы можем воспринимать буквально или же образно, в контексте насилия, которым пропитана книга. Как понимать вот такой пассаж: «Однажды мне даже случилось убить друга, который недостаточно пылко отвечал на мои ласки, а труп я швырнул в заброшенный колодец, не оставив против себя никаких прямых улик»?

Лотреамон: Это вопрос слишком личный. Мы уже договорились, что в отсутствие биографии место автора занимают его работы.

Корреспондент: Мне любопытно, как вы изначально замыслили форму для «Мальдорора». Лишь под конец вы заявляете о своей вере в позитивную силу романа, но к тому времени «Песни» уже стали фрагментарным повествованием.

16 **Лотреамон:** Все, за что автор берется с намерением сделать роман, есть ложь. Воображение действует вопреки деспотическим рамкам персонажа и сюжета. Я плыл в потоке сознания. Видя, что определенные нити согласуются между собой, я просто затягивал петлю, прежде чем оставить тему.

Корреспондент: Вы завершаете «Мальдорора» образом повешенного, тема увечий проходит через всю книгу и начинается почти с первых строк, когда главный герой берет острый нож и надрезает себе уголки рта с обеих сторон. Нам, читателям, удобно сопрячь саморазрушение, воплощенное в вашей книге, с вашей ранней смертью. Но для вас наверняка все иначе. Есть ли между ними связь?

Лотреамон: Никакой связи нет. За столетие, проведенное в пустыне, я убедился, что при любой попытке придумать жизнь – то, что вы попытались сделать в своем романе, – один вымысел описывает другой, не более того.

Корреспондент: И что в итоге?

Лотреамон: Кто знает?

Два пустых белых стула под белым солнцем. Автомобиль мчится прочь, вздымая облако пыли.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Соглядатай: Один

Объект: Изидор Дюкасс.

Дата рождения: 4 апреля 1846 года, 9 утра.

Место рождения: Улица Камакуа, Монтевидео.

Отец: Франсуа Дюкасс (р. 1809), заместитель секретаря французского консульства.

Мать: Селестина-Жакетта Давезак (р. 1821), ныне покойная.

Крещен: Изидор-Люсьен Дюкасс, 16 ноября 1847 года, в архиепископской церкви Непорочного Зачатия, Монтевидео.

Образование: Домашний учитель – Гюстав Фламма-рион, холост (?).

Донесения составлены для Франсуа Дюкасса

Я начал регулярно следить за передвижениями вашего сына. Мальчик по натуре склонен к уединению, и сим фактом подтверждается ваше беспокойство о том, что он слишком много времени проводит в одиночестве. Я заметил, что к своему наставнику он относится с презрением, необычным в столь юном существе, и может запросто ускакать в город, когда следовало бы присутствовать на уроках. Не боясь показаться нескромным, рискну предположить, что мсье Фламарион отнюдь не принимает мер дисциплинарного воздействия и, по видимости, потворствует прогулам вашего сына. Как вы и просили, предоставляю вам факты. Я не могу проводить это расследование без вашего дозволения. Я не берусь судить, отвечает ли

Гюстав Фламарион за неблагонравное поведение вашего сына в столь раннем возрасте, однако доля его вины в этом есть.

Книги, которые ваш сын прячет с таким тщанием, принадлежат перу сочинителей, коих вы отнесли бы к числу будоражащих воображение. «Манфред» Байрона, «Конрад Валленрод» Мицкевича, «Цветы зла» Бодлера, сочинения По, наряду с более традиционными Ламартином, Гюго и Альфредом де Мюссе.

18 Дважды на прошлой неделе я проследовал за Изидором Дюкассом в центр города. На площади Независимости у него есть любимое кафе «El Sol Negro», где он сидит в одиночестве, пьет кофе и созерцает космополитическую жизнь Монтевидео. Он редко заговаривает с незнакомцами, его цель – наблюдение.

Должен заметить, что его бездействие завораживает. Дважды к нему подходили люди и заводили беседу. В таких случаях его природная робость исчезала бесследно. По большей части это были иностранцы, одинокие мужчины, постояльцы отелей «Америкэн» или «Империал».

Вы просили, чтобы в своих конфиденциальных донесениях я ничего не утаивал, и осмелюсь предположить, не имея убедительных доказательств, что вашего сына привлекают представители одного с ним пола. Он проявляет мало интереса к женщинам, что необычно для молодого человека. До сего дня его также не прельщали дома терпимости, и он ни с кем не завел дружбы. Он всегда один: и в городе, и на природе, когда он без разрешения катается на лошади, и на пустынном пляже, где он часами сидит, погруженный в раздумья.

Наблюдая, как ваш сын проводит одинокие часы на берегу, я нащупал еще одну смутную связь, которую со временем надеюсь раскрыть. За ним

постоянно следит некая фигура, что прячется в траве на склоне. У меня нет ни единой зацепки. Быть может, ваше ведомство располагает о нем более полными сведениями. По роду занятий он, видимо, связан с кораблями – грабитель, контрабандист, посредник контрабандистов? Его бинокль постоянно направлен на вашего сына, который, насколько я вижу, просто желает побыть один у моря.

Я уверен, что они незнакомы. В своих последующих донесениях я буду обозначать этого человека литерой X.

В ходе длительных наблюдений я заметил, что ваш сын сутулится при ходьбе, однако не могу сказать, притворно это или же от природы. Кроме того, в минуты бурной радости он склонен прихрамывать на левую ногу, словно комически кому-то подражает. Подобные вспышки лишней раз доказывают отсутствие внутренней дисциплины.

Я надеюсь продолжить расследование и в скором времени представить вам более подробное донесение. Привожу выдержку из личных записей Фламариона касательно вашего сына:

Вероятно, классицист, однако недисциплинирован. Декадентские склонности, каковые созвучны моему опыту. Тяга к уединению слишком сильна, посему с чужих слов не учится. Легко возбудимое воображение. Интерес к бестиариям, допотопным чудовищам. Я бы мог найти ему полезное применение в деле, если бы не его неослабное упрямство. Подозреваю, он знает правду о своих родителях?

19

* «Черное солнце» (исп.).

Глава 1

²⁰ То были часы, отмерявшие мою жизнь, – ритм прибора, настойчивый и недолговечный, затоплял ухо, точно ракушку, оставшуюся на песке после отлива. Я слышал его в промежутках между приступами лихорадки, вселенский ритм приливов и отливов, мир катался жемчужиной по изумрудным стокам. Иногда морской ветер приносил послание о корабле, налетевшем на риф, – днище пропорото коралловым шпилем. Мне представлялось, как затопленные каюты сверкают блестящими стаями рыб, кои движутся, точно подводные бабочки.

На столе у кровати лежали ракушки – я нырял за ними или нашел их в бухте. Меня завораживало их совершенство. В них не было место случайности. Цветом их наделяла среда, и на ум приходили многоцветные ниши морские, блистающая фауна, багряные и желтые прерии водорослей – листья дрожат на ветру течений.

Один ныряльщик научил меня извлекать моллюска из раковины поворотом ножа, но чаще я просто закапывал свой трофей в песок, чтобы муравьи очистили нутро. Когда отец пренебрежительно рывкал мое имя, я подносил к уху розовую спираль и слушал рев у себя в голове. Так я вновь оказывался один, лежал на камне у берега и думал только о солнце и волне, что покрывала песок белым кружевным подолом.

Когда отцовский голос врвался в мою тишину, я терялся. Обращение отца уподоблялось разо-

шедшейся строчке на бесшовной ткани, которую я называл внутренним диалогом. Отец был властен, строг, повеления его непреклонны. Я наблюдал, как он меряет шагами балкон, и узнавал по сбивкам его равномерного ритма, когда он думал о ней; видел, как ее лицо сбивало его механический шаг. Его чопорность скрывала легчайшую хромоту, что проявлялась только в минуты волнения. Наверное, он отказывался признавать этот изъян еще с той поры, как уехал в Уругвай, оставив скромный учительский пост в деревеньке в Верхних Пиренеях. Он был начеку: малейший намек на любой физический дефект – и теряешь лицо. Я сам обнаружил его хромоту, лишь наблюдая с усердием, но сегодня его тайна сделалась явной. Левая нога спазматически подергивалась, и отец не пытался это скрыть.

Я видел бисеринки пота у него на лбу, его голова – комическая перечница на римской шее, белый льняной торс подпоясан красным кушаком. Его фетровая шляпа лежала на белом плетеном кресле вместе с открытой книжкой Бальзака, которую утром педантично вернул на полку в библиотеке. Вероятно, не только учительство побудило его собрать столь любопытную коллекцию книг. Неустанно разглядывал я диковины природы, чудовищ, якобы вымерших давным-давно. Огромные динозавры в броне, неуклюжие мастодонты и гигантские ленивцы, вырывающие дерево с корнем. По ночам доисторические бестиарии оживали. Подолгу медитируя над иллюстрациями, я научился населять свои грезы существами. Закрывая глаза, я запирал чудовище в голове, даровал ему жизнь на безбрежных внутренних просторах, где никто никогда не умирал и никому не отказано в праве внушать ужас. Я объявлял войну темным богам, чьи бизоньи головы были увенчаны рогами, чьи красные глаза наблюдали за мною с лесистых вершин. Я бегал быстрее гепарда, ни за что не поймает меня – золотую

стрелу ветра, что мчалась вослед дуге полета, одним шагом покрывая целую равнину.

Уединенный, бродил я по пляжу, проклиная колониализм и предвкушая встречу, что уверит меня в смысле реальности. Я наблюдал за рыбаками, выходящими в безмятежное море с рассветом, – белый парус на горизонте вставал торчком, словно кошачье ухо ловило ветер. Я видел, как полуодетая девочка швырнула в лицо офицеру его золотые монеты, и они со звоном рассыпались по камням.

Когда отец пригрозил, что на будущий год меня отправят в императорский лицей в Тарбе, я позволил его словам ускользнуть от меня. Я убедил себя, что если не заметить распоряжения, отец со временем позабудет. Он обращался ко мне с бесконечной формальностью, будто отстранялся от собственных слов, извиняя себя за нелепость беседы с низшим. Его как будто пугало, что речь налагает моральную ответственность, пугала психологическая оценка манеры, коей мы выражаем мысли. Он был раздражителен, высокомерен, усы испачканы кофе, и я пятился из его кабинета в зеленый солнечный свет, а потом по задам мчался в бухту, где ослепительна долгая пена прибоя, сапфирная вода обнажает ребристое дно, полосатое, точно зебра, а трепетная стайка розовых рыбок уплывает в глубину.

Я решил бежать тайком, наказать отца за безразличие и вызвать скандал в колониальной общине. Упреки, непристойности, прозорливые метафоры теснились у меня в голове. Я достал блокнот и, дабы освободиться от гнева, принялся записывать. Все разочарование, что копилось во мне годами замкнутости, излилось, подобно смертоносным чернилам каракатицы.

Дорогой мой отец,

когда Вы получите это письмо, я уже буду в открытом море на пути в Бордо. Вы невозмутимо раскурите

сигару, оцените сократившиеся активы и порадуетесь приятным возможностям, каковые открывает холостяцкая свобода. Никто никогда не узнает, как знаю я, правды о том, что стало с матушкой, – как ее мертвое тело утопленницы будет вечно всплывать в черной заводи вашего подсознания. Вы забываете, что я в тот день тоже был на берегу.

Как поэт по призванию, я подумал, что вас развлечет аллегория из моих запасов унаследованного безумия.

– Жил-был человек, укоренившийся в своем доме. Он закрылся в жилище, подобно моллюску, что закрывается в раковине, и стены дома переваривали его тайны. Во тьме ночной он думал: я незрим, люди приняли мою отчужденность, – и полки в библиотеке были сообщниками в его тайном заговоре. А потом он услышал о человеке, что жил в хижине на отвесном утесе, на уступе у обрыва над морем, – и покрылся холодным потом, и у него закружилась голова. Мысль об этом лишила его покоя. Он грезил об утесе и в бредовых видениях представлял себя птицей, что освободилась от силы тяжести и не может вернуться на землю. Одержимость ненадежным жилищем на краю обрыва подвигла его посетить эту хижину.

Он вышел из дома в дождливый туманный день. В ту ночь у берега затонул корабль. Теперь над водой виднелось днище – носом в разъявленную акулю пасть сокровитного водостока. Человек пришел к хижине берегового смотрителя и постучался, но тот, кто точно был внутри, ему не открыл. Человек слышал, как кто-то ходит за дверью, не обращая внимания на настойчивый стук. С моря задувало моросью, белесым туманом, что пропитывал влагой армейскую шинель. Человек слышал, как обитатель хижины стучит молотком, и в смятении чувств казалось человеку, будто хозяин заколачивает дверь изнутри, чтобы гость не вошел. Рука онемела и безвольно упала, и лишь тогда стук молотка прекратился. Вновь стало тихо, и человек заметил созревшие

смородины крови на тонких белых досках и почувствовал, как саднит пальцы там, где содрана кожа.

Долго стоял он перед дверью, разглядывая раненный кулак: кожа на костяшках раскрылась, подобно венчику лилии. Ветер совсем разошелся, грозя сбросить человека с утеса, и человек пошел прочь, ссутулившись, продираясь сквозь траву. Он ждал, что вот-вот утес расколется с грохотом и хижина рухнет с обрыва в пенное море. Пару раз ему мнилось, что он действительно слышит грохот, но это лишь волны с новой яростью атаковали подножье утеса. Человек пробирался сквозь высокие травы, вода потоками лилась на шинель, и росла паника, ибо он все дальше проникал в незнакомые земли.

Вернувшись в город, он вспомнил о своем чине и напустил на себя армейский вид – взгляд уперт в горизонт, грудь колесом. К его удивлению, у дома его собралась большая толпа. Гул людских голосов походил на жужжание потревоженных шершней. Он пробрался сквозь толчею и увидел, что буря разрушила его дом. Ничто не уцелело. Крышу сорвало ветром и отнесло на соседнюю плантацию, стены обрушились, только массивный дубовый стол остался на месте, нелепо незыблемый. Человек приблизился, и что-то шевельнулось на ветру облаком розового шифона, обшитого жемчугом и кружевами цвета лосося, – человек подумал сперва, что это раненый фламинго тщится подняться из травы. И лишь когда он потыкал в розовость тростью, понял он, что это нижняя юбка его жены. Он смотрел, как она по-птичьи взлетает, подхваченная штормовым ветром, и по спирали устремляется под брюхо к черной, как сажа, туче – сбилась с пути, истерзана грозой. На мгновенье тряпица зависла в воздухе, а потом быстро закружилась и исчезла из виду.

Человек погрузил свою кровотокающую руку в землю, где был его дом, и произнес такие слова: *Кровавый дом открыт чужим взорам, а дом бумажный выстоит в ураган.*

Я бросил перо; его черный ядовитый след унял мою злость. Я понял, как мало говорил о психологии, как редко пытался предать словам мир, сокрытый во мне. Вместо этого я изливал его в словах, горясь над блокнотом, точно странник, съездившийся у костра, и чернильные кляксы – точно пятна от ягод. Свои записи я был вынужден прятать от любознательной горничной Альмы, чья тень скользила по всем плоскостям моей комнаты. Каждый раз, проходя мимо зеркала у меня в спальне, она капризно надувала губки, яркие, будто она только что ела малину. Альма была из местных, деревенская мулатка с непринужденной походкой – точно плясунья, исполняющая танец живота. При каждом шаге бедра ее выписывали воображаемый круг, будто Альма предпочитала кружиться, а не шагать вперед.

Я наблюдал ее колыхания: они словно возникали из расщелины между ягодицами и распускались из копчика, и мне представлялось, что она ступает по апельсинам. Она изъяснялась не речью, но жестами. В ней не было недоверия к силам природы, что пронизывало напряженную атмосферу нашего дома. Отец, при всей его сдержанности и непробиваемом высокомерии, боялся грозы. Если ночью над заливом разражалась гроза, я слышал, как отец идет вниз и откупоривает графин. Потом начинались хождения взад-вперед, скрип выдвигаемого и закрываемого ящика, шелест бумаг, яростный, словно треск пламени, мчащегося по подлеску. И так продолжалось, пока не стихал гром, – беспокойство плененного ягуара, что мечется в клетке. Утром лиловый кружок от монокла был как синяк на отцовском глазу. Воздух тлел сигарной вонью, а мирная тишина кабинета выдавала ночные метания с судорожным обыском буфета и стола в алых отблесках зари, пронизанных ртутью.

Альма передвигалась по дому, точно сомнамбула. То, чего ей не хотелось видеть, она не замечала.

Тонкое платье обретало форму тела, и в дождливые дни легко было представить, как на ее полной груди расцветают тугие бутоны розовато-лиловых сосков. Не желание испытывал я – скорее озадаченное предвкушение: я жаждал узреть свою противоположность. Я верил, что каждый сам для себя – неистощимый предмет изучения, безбрежный пляж, который ни за что не пересечь, ибо всей жизни не хватит, чтобы разобрать шифр на песке. Подолгу стоишь на коленях, разглядывая всякую новую криптограмму, что возникает из пробуждения чувств. Треугольный отпечаток, оставленный ловцом устриц, рассечен и перечеркнут кривыми противоречивых знаков. Можно всю жизнь искать след ловца устриц, отбросив все прочее. Нет конца лабиринту, и целое лето меня все сильнее мучило растущее недовольство, ибо я не способен был войти в приливное течение других жизней, других людей. Стоило мне чуть высунуть рожки из витого тюрбаном домика, как я тотчас забивался обратно. Все великие события происходили внутри; там я провозгласил свое господство.

Я завел привычку совершать ночные вылазки к морю. На рыбацких лодках неподалеку от берега мерцали огоньки. Свет маяка был как подвижная дуга меж звезд. Я закрывал глаза, и видение моря пряталось во мне, точно кораблик в бутылке. Если делать так долго-долго, говорил я себе, – станешь Богом. Когда вбираешь в себя вселенную, сам растаешь соразмерно и обретаешь космическое сознание. И тогда твое мистическое око видит вселенную в образе прозрачного синего шарика для детской игры – хрустальной сферы, балансирующей на луче света.

Пляж был моим воображаемым царством. Я представлял себя морским царем – одинокий, он прислушивается к шуму прибоя, положив голову на колени, на самом краю мира. Все существовало лишь в моем

сознании. Я был семенем, прорастающим в темноте, и я уже знал «Цветы зла» Бодлера, и творения Мицкевича, Байрона и Мюссе, и психологический ад, придуманный По. Я воображал себя мальчиком из «Плаванья» Бодлера, что сидит над картами и эстампами при скудном свете лампы, но безбрежность вселенной мне, рано повзрослевшему, внушала, скорее, не благоговение, а скуку, когда я осознал, что ее открытие принесет лишь ощущение предсказуемости. Я уже пережил весь путь стихотворения и выстрадал его финал: «В неведомого глубь – чтоб новое обрести!»

Если я часами сидел, замороженный своим отражением, то лишь потому, что верил: увеличение малой детали – наш единственный доступ к знанию.

Целыми днями отца не бывало дома. Он уезжал во главе дипломатической миссии, черты его складывались в безличную маску, и лишь тонкий серп рта, верхняя губа под песочными усами, обнаруживали бесчеловечность, кою он перевел в верность долгу. Бунты случались повсюду, черные мятежники поджигали дома европейцев и мародерствовали под прикрытием пламени – уносили ночные горшки, шкатулки с драгоценностями, наряды из синего бархата, что со временем пропитаются потом и изорвутся в тростниковых зарослях.

Я сидел в кресле на галерее с видом на двор и сочинял истории, которые якобы рассказывал тому, кто стоял внизу. Его звали Гермийон. Гермийон был протеем, воплощавшим хамелеонские перепады моего настроения. Альма его не видела. Однажды, когда я по ошибке о нем рассказал, Альма напустила на себя строгий вид и посоветовала мне прилечь, закрыв ставни.

– Но тогда он тоже войдет в дом, – сказал я. – Мы с ним взаимозаменяемы. Он, скажем, выглянет из меня, а ты и знать не будешь.

Иногда, если отец уезжал надолго, я отправлялся в Монтевидео и пил кофе на площади Независимости. Если в порт прибывал корабль, в городе царил толчея, и то и дело в сторону Панадерии-дель-Соль грохотали кареты с фургонами на прицепе.

28

Но даже в относительно безмятежной столице я предчувствовал грядущий мятеж. Я чувал едкий гистаминовый запах горящей травы и слышал, как со скрежетом рушатся балки. Стада громыхали по прерии, спасаясь от красной волны огня. И тела женщин даже в моем юношеском воображении были изломаны в невозможную геометрию – ноги закинута за голову, и солдат танцует на треуголье мира, понуждая свое наслаждение, наплевав на пространство и время, в нарастающем прибое оргазма осуществляя тот импульс, что гонит волну на белую стену утеса. Меня не покидало предчувствие неминуемого конца, когда я стоял перед банком Дюплесси на улице Серрито, наблюдая, как прибывают богатые плантаторы, чья властная робость облачалась в сдержанность, убежденность, что незачем умирать в стране, дарующей столь неистощимое процветание. Однажды их найдут в глуши – колонию, что живет в апельсиновых и лимонных рощах, одежды усыпаны ароматными лепестками, мудрость их древняя, как камень.

Моя юность сгорала от скороспелости. Я рано развился. Замерев в неподвижности посреди площади Монтевидео, я будто взлетал – могучий ветер приподнимал меня над землей и уносил за пределы времени, в грядущий век, до которого мне никогда не дожить. Я был на ножах со своими годами и равно недолюбливал собственное тело. Долговязый, худой, чуть сутулый, с непослушными светлыми волосами, падавшими на лоб, я походил на нескладную цаплю, когда стоял оцепенело, прислушиваясь к мыслям, что поднимались из глубин подземной пещеры. У меня был высокий пронзительный голос, как у Шелли. День

за днем я наблюдал эту картину: его обугленный череп, вынутый из погребального костра, режущего на берегу, кость, омытая пламенем, Байрон плюет в пепел, клянет зеленое небо, изуродованной ступней пинает обуглившуюся древесину, поборов искушение разбить о скалу торжествующий череп. Я чувал алую гекатомбу, струйка черного дыма вилась в небесной лазури. Шелли с его фиалковыми глазами распался на элементы стихий, которые славил при жизни. Группка скорбящих двинулась прочь от кромки прибоя – воодушевленные, все еще не в силах уравнивать смерть и дым, стелющийся по песку, смерть и слепящую синеву света над морем.

29

В такие минуты Гермийон всегда был рядом. Просто рядом, стоял между мною и светом, ждал – знак того, что пора начинать рассказ. Он заставлял меня врасплох на галерее, когда я сидел с бокалом лаймового шербега и слушал, как дятел стучит в древесной кроне. Или же он незвано являлся за обедом. Я сбивался на полуслове, спотыкался о сцепленные слова, ронял нож или вилку к вящему неудовольствию отца, который багровел от злости, но я был уже далеко-далеко, меня вздымало из настоящего к обрывкам фантазии. Я был свидетелем драки двух моряков в проулке – они дрались из-за рыжеволосой женщины, что наблюдала за ними и поднимала юбку все выше и выше, соблазняя того, кто победит. Когда картина менялась, я оказывался на берегу один: я стоял, глядя в море, в синем матросском плаще, ждал вестей о рождении короля на островах. Новорожденный пребывал на вилле черного мрамора под охраной двух сестер, поклявшихся не выдавать тайну его рождения. Он уже чертил письмена собственной кровью – то был знак его абсолютной власти. Он завесит в доме все зеркала, ибо смерть для него – узреть свое отражение. Он будет готовить речи, которые произнесет, оказавшись в Риме, и представлять себе одобрительный

гул стадионов. Он умрет к ночи в Венеции, в гондоле, скользящей по черным каналам под звездами, его отравленное нутро забурлит принятым афродизиаксом, а фигура в маске, что лежит подле на подушках, уже сдирает кольца с его пальцев.

– *Noli-me-tangere**. Отсоси у меня.

30

Меня выгоняли из-за стола. Отец поднимался, багровый, и в безмолвной ярости смотрел, как я ухожу. В такие мгновения я прозревал юношу, похороненного в нем. Я видел молодой побег в искривленных чертах древа, пережившего не одну бурю. Убрать эти усы, постриженные циркумфлексом, убрать круги под глазами, обесцвеченные бессонницей, избавить фигуру от балласта, накопленного за обедами в дипломатических миссиях, – и разглядишь юношу, что склоняется к синим цветам горечавки на горном склоне, взволнованно предвкушает открытия, приготовленные жизнью. Я смотрел на пламя свечи, а напряжение растягивалось, подобно тетиве. Лиловый овал подрагивал в сердцевине оранжевого ореола. Этот свет и рождал иллюзорные следы отцовской юности.

Я все смотрел на него, как ваятель смотрит на глыбу мрамора, готовясь отсечь лишнее, дабы освободить заранее воображенную форму. Мне так хотелось, чтобы он увидел себя таким, каким я воображаю его в свете свечи: юношей, что ведет красивую девушку, мою мать, полем буйных анемонов, коих лепестки похожи на радугу, красочной аркой вставшую над фуксиновым лугом. Поднявшись из-за стола, отец сбрасывал лет тридцать. Мне хотелось, чтобы он остался таким навсегда – существом, что сотворено пламенем, опустошено и кое-где тронато синью и золотом.

Меня наказывали за мечтательность; отец не мог мириться с тем, что его просвещенная речь о политике

* Не тронь меня (*лат.*).

не находит во мне отклика. До нас доходили вести о необузданном либерализме Луи-Наполеона, об освобождении Парижа от тирании второй республики Луи-Филиппа – просыпаясь, женщины находили бриллианты под атласными подушками, пробки от шампанского гремели орудийным огнем, герцоги среди ночи мочились в ночные горшки, на иссиня-черном ночном небе над Нотр-Дам было начертано: *Vox Populi, vox Dei!**

31

Непреклонное молчание отца отправляло меня в постель. За окном спальни неустанно шумел прибой, Атлантика выдыхалась в пенных гребнях на берегу под луною. А дальше, за горизонтом? Я был уже там. Мир вручал мне путеводную нить, чтобы я преодолел лабиринт, – тень моя на стене коридора была огромной, я шел, опьяненный запахом зверя, шел в самое око бури.

* Глас народа — глас Божий (*лат.*).

Соглядатай: Два

32 Постоянное отлынивание от уроков. Странно, что мсье Фламарион не докладывает вам о подобном поведении вашего сына.

Сильнее тревожит тяга мальчика к сценам насилия, на что впервые обратил мое внимание помощник конюха. Лошадь, на которой ездит Изидор, несколько раз возвращалась в конюшню с израненными боками, исполосованными кнутом или шпорами. Если он ездил на ней полдня, потом на нее нельзя садиться неделю.

5-го, 8-го, 12-го, 23-го и 27-го числа текущего месяца ваш сын посещал столицу. Я полагал, что причина этих поездок – потребность в новых впечатлениях либо намерение контактировать с чужестранцами. Ваш сын старательно избегает знакомств с жителями Монтевидео. В сем отношении его инстинкты поразительно развиты для столь молодого человека. Его суждения всегда безошибочны. Он идет на контакты, только зная, что это безопасно.

12-го и 23-го числа события приняли более серьезный оборот. Я наблюдал, как Изидор Дюкасс выходил из отеля «Империял» и шагал через весь город. Он направлялся к скотобойне, расположенной на окраинах бедных кварталов. 12-го числа его сразу прогнал гаучо, но через час Изидор Дюкасс вернулся и спрятался во дворе за мусорными баками. Нет нужды описывать вам резню на скотобойне. Визжащих животных валят на землю и забивают. Жестокое кровопролитие, по

видимости, ничуть не растрогало вашего сына, и 23-го числа он вернулся туда. На сей раз он подкупил бригадира, и ему разрешили войти. Рабочие не обращали на него внимания, невзирая на его опрятную одежду, на неуместность его присутствия на скотобойне. Его напряженная сосредоточенность и скованные движения дают основания предположить, что он впал в состояние, близкое к трансу.

Окровавленная одежда. Выстирал рубашку в море и высушил на солнце.

Три дня провел дома, писал и читал. 27-го числа, где-то за час до полудня, он отправился в город. Изнуряющая жара, смятение приготовлений к карнавалу. Я последовал за Изидором Дюкассом на площадь Независимости, где он оставил письмо в отеле «Америкэн». Потом направился на центральный рынок – место до крайности небезопасное, куда, насколько я понимаю, ему ходить запрещено. С крыш домов уже запускали фейерверки.

В одном из грязных проулков за рыночной площадью к вашему сыну обратилась фигура в маске, одетая в карнавальный костюм; человек совершенно отрезал вашему сыну путь, встав посреди проулка.

Что-то в этом человеке – гибкое телосложение, манера двигаться – сразу напомнило мне об Х, которого я упоминал в прошлом донесении.

Детали этого инцидента вы найдете в полицейском рапорте.

Объект: Рубен Мачадо.

Род занятий: неизвестен.

Адрес: Биста-дель-Мар, 3.

Прочие сведения: Бывший моряк, говорит по-французски и по-английски. Небезызвестен полиции. В Монтевидео судимостей не имеет.

Глава 2

34 Когда последние охваченные паникой животные вошли на бойню, гаучо в сопровождении помощников прогалопировал прочь из загона в дальний конец двора. Там он спешился, поднял с земли длинную толстую веревку из сыромятной кожи и привязал к седлу. Потом я понял, что это гибкое лассо, которое накидывалось на шкив. Человек раскрутил лассо над головой и набросил быку на рога. Едва лассо нашло свою цель, всадник пришпорил коня, тот сорвался с места, повалил заарканенного быка наземь и потащил туда, где с ножом наготове стоял человек, бросивший лассо, – он вогнал нож быку в голову позади рогов.

Когда я увидел это в первый раз, мне захотелось смотреть еще, невзирая на рев напуганного скота, на подавленную истерию лошадей, на жестокость забоя. Мертвое животное упало в люк на вагонетку, ходившую туда-сюда по железным рельсам под настилом. Там, где рельсы кончались, шестеро сняли тушу и тут же принялись свежевать ее и разделявать. Процедура тянулась часами – монотонная, размеренная. Прежде ничто не побуждало меня наблюдать столь изуверские сцены, моя белая рубашка покрылась кровавой моросью, принесенной ветром, и все равно меня завожило это безжалостное ниспровержение моего героического мифа, в коем я рисковал жизнью, сражаясь с единственной непокорной силой, стоявшей между мной и лазурными морскими дорогами в будущее.

Несколько раз я ловил себя на том, что шагаю на бойню. Я вздрагивал, словно пойманный вор, и замирал на полпути. Я не постигал, я или некто иной так упорно стремится туда, где льется кровь. Нет, я, должно быть, сижу в комнате у распахнутого окна и представляю себе кровавые сцены, которые можно стереть одним усилием мысли, – иллюзорный двойник, вновь затащенный на линию жизни.

Я стоял, прижимаясь спиной к выбеленной стене, и вдыхал запах алоэ. Это я стоял во дворе и тратил неповторимые мгновения жизни, что была как монета, упавшая на ребро, и обе стороны оборачивались зримыми альтернативами: одна – с четким и круглым рельефом уробороса, другая – с кадуцеем. Тонкий золотой кружок сверкал на солнце. Мне представлялось, что его обронули, спеша к парому в подземное царство.

Мой путь к брызжущей крови лежал по улицам, уже взбудораженным подготовкой к трехдневному карнавалу. Сухой предкарнавальным воздух потрескивал порохом. На стене дома предполагаемого доносчика кто-то вывел краской имя: Хуан Мануэль де Росас. Его диктатура закончилась, когда мне было шесть лет, но люди до сих пор плевались при одном упоминании его имени. Завтра над гаванью с ее вздымающимся маяком вознесутся огненные шары. Органисты в масках наводнят улицы; женщины с лицами в искрящихся блестках и с серебряными кисточками на сосках потекут переулками к Таможне и отелю «Ориенталь». Изготовители масок будут трудиться с утра до вечера, вылепливая из папье-маше гротескные лица клоунов, первобытных воителей, а где-то – и белый череп с распахнутым ртом, который будет тарашиться из темноты, подобно ревущему ослу.

Я спешил; в воздухе пахло селитрой от фейерверков, преждевременно запущенных в небо при свете дня. Оранжевые и черные, они стаями иволг

взмывали вверх и распускались пиротехническими соцветиями, деревьями синего пламени.

36

Мне следовало сидеть дома, читать Расина или Корнеля, которых мне задавали, готовя к поступлению в лицей в Тарбе. Мсье Фламарион был старым бонапартистом, сбежал в Монтевидео из Франции короля-гражданина Луи-Филиппа и непрерывно болтал о возвращении в Париж Луи-Наполеона. Ростом он был невелик и вечно ходил с таким видом, будто сейчас раскроет воображаемой аудитории сокровенный секрет. Манеры его были безупречны, как серебряный наконечник его прогулочной трости. Он носил цилиндр и клетчатые костюмы, введенные в моду графом Валевским. Я не доверял этому педантичному астматику с его памятью на анекдоты, с его серыми глазами, водянистым взглядом, что вроде бы намекал на некие параллельные потоки мысли, и лживой речью, так не вязавшейся с его показной искренностью. Бывали часы, когда я слышал, как мсье Фламарион беседует в кабинете с моим отцом. Тогда голос его звучал иначе: речь плавнее, модуляции разнообразнее, интонации приобретали некое подобие мужской твердости. Вряд ли они с отцом так подолгу обсуждали меня, хотя гроза в моем сердце подсказывала, что я – экспонат под стеклянным колпаком, который они разглядывают. Обсуждали они, как избавиться от меня, или, быть может, педантичный мсье Фламарион хвастался перед отцом близким знакомством с цветовой гаммой покоев императрицы в Тюильри? Что завораживало его в портрете маленького принца с красной лентой ордена Почетного легиона на белом сюртучке? Подробности, мгновения, иллюзия, неотделимая от реальности.

Из открытого окна виллы доносился безумный смех. Кто-то бросался водяными бомбами, и одна попала в меня, окатив холодной водой. Сначала мне угодили в левое плечо, затем в макушку – под трескучий

аккомпанемент фейерверков, что изумрудными хвощами расцветали в голубом небе. Я пробирался по улицам, пропахшим отбросами, и этот гнилостный запах никак не вязался с космополитическими нововведениями в городе, с его архитектурными параллелограммами, с его морским воздухом, что пах жасмином и мимозой. Из двери на улицу выскочил арлекин в усыпанной блестками куртке, желтом трико и розовой маске. Я замер, остановленный этой атакой, и арлекин преградил мне дорогу, делая ложные выпады вправо и влево, словно боксер, скрывая намерения под размалеванной клоунской маской. Я попятился, и он прошел чуть вперед; я шагнул на него, и он отступил. Нас будто соединила липкая паутина, невидимая, но прочная, от пупка к пупку, натяжением своим она тянула нас то вперед, то назад. Я оглянулся: проулок у меня за спиной уже запрудила толпа – путь на широкую, оживленную улицу был отрезан. За спиной моего неизвестного противника тотчас собралась группка людей в масках. Они стояли, опираясь на стену и делая вид, будто им все равно, но зорко наблюдали за каждым нашим движением. Я сам не заметил, как расстояние между нами сократилось и стали видны черные дыры глаз в прорезях светло-вишневой маски. Фигура, преградившая мне дорогу, была обманчиво несоразмерной: подкладные плечи под облегающей алой курткой, волосы спереди убраны под треуголку, а сзади завязаны бантом, белая пена кружев скрывает грудь. Куртка искрилась ливнем блесток.

37

Я застыл посреди улочки, залитой белым светом. Я был как лед в полуденной жаре; полон решимости пробить себе путь сквозь толпу. Меня охватило то же лихорадочное возбуждение, что я испытал, когда мне впервые разрешили одному выехать верхом. Мой порыв и непринужденный ритм коня слились так, что я ничего не замечал – ни пара над боками

загнанного скакуна, ни хлопьев пены, ни ударов шпор. Когда я вернулся, конюх огрел меня плетью, но я был одурманен скоростью, пьян от расстояний, что покрыл в тот день. Мне казалось, я все еще мчусь над бурлящим травяным горном – всадник, спроецированный в будущее. Отныне я всегда буду на долю секунды себя обгонять.

38

Фигура в маске приблизилась еще. Я все раздумывал, что смешало наши жизни, нет ли связи между этой фигурой и бойней, где я взираю, как жирный скот собирают в загоны.

Я видел рукоятку ножа в ножнах на правой ноге моего оппонента. Напряжение требовало выхода. Перед глазами шутихой промчалась муха. Я чувствовал, что толпа жаждет драки – преддверия бурного праздника, которое начнется с наступлением темноты.

В голове билась мысль: мне запрещено здесь находиться; только страх перед отцом, а не перед недругом стоял между мною и неизвестным противником. Мне полагается с крыши дома наблюдать праздничный фейерверк, что плывет над заливом. Кровь, соль, аммиак. Я чуял их, едкие запахи, предвещавшие столкновение. Мы сблизилась еще на шаг, и я разглядел, что под рубашкой у моего оппонента – поддельная женская грудь. Мнилось мне, будто он знает обо мне больше, нежели знаю я сам; словно он постиг дополнительное мое измерение, кое мне еще предстоит обнаружить в моем психологическом облике. У него было преимущество, его лицо скрывалось под маской, мешавшей мне разглядеть личность, что проявлялась в его глазах.

Люди уже собирались на крышах ближайших домов, молчаливые, безразличные, равнодушные к исходу очередной поножовщины, однако отчасти заинтересованные, ибо поглядывали на нас в полглаза.

Я был слишком легок, мое тельце школьника рухнет или отлетит при первой же атаке. Я весил

вдвое меньше противника, вооружен был только маленьким кортиком – хотя недруг мой об этом не знал, – и был чужаком в этом квартале, где жили испанцы и итальянцы. Я невольно продумывал стратегию, прикидывал, куда лучше ударить, высматривал возможные пути отступления. Меня захватывало возбуждение, кровь бурлила адреналином, и мне приходилось сдерживаться, чтобы не сделать опрометчивого шага.

39

Сплошная стена взидала на нас, живая картина, зеваки, случайные прохожие и те, чей естественный порыв – подтолкнуть неявное, но неминуемое насилие. Время сгустилось и растянулось до бесконечности. Я был и в проулке, и где-то еще, и видение этого неведомого места подсказало мне, что я не умру. Я увидел себя годы спустя – стройный молодой человек в черной бархатной куртке с вытертыми локтями глядел из чердачного окошка на позолоченные солнцем шпили. Дабы это будущее свершилось, мне следовало уничтожить оппонента. Нить, соединявшая нас, упрямо трепетала. Пыль щекотала ноздри, пробивалась в горло и оседала там. Потом была вспышка, хлестнуло молнией, и я отпрыгнул, уклоняясь от выпада оппонента, рука его стиснула нож, когда противник мой пробежал сквозь пустоту, где только что стоял я; проводя свой маневр, я потерял равновесие и упал лицом в пыль под рев и крики зрителей, и тут конная жандармерия пробилась сквозь толпу, свирепо стегая хлыстами направо и налево, в неразборчивом зверстве разгоняя зевак. Один из жандармов спешил и сорвал с моего противника блистающую маску, открыв лицо девушки, черноглазой итальянки с горизонтальным шрамом на лбу. Ее избил и оставили на мостовой, где даже не было тени. Зрители тем временем растворились в голубой послеполуденной дымке. Я остался – черные брюки порваны на колене, рубашка на локте разодрана в клочья.

Домой меня отвезли в ландо, молчаливого и бледного от ярости – меня препровождали в отцовский дом, как ребенка, и это было унижительно. Мы ехали мимо банановых и апельсиновых плантаций, изредка – под черной тенью одиноко стоящих фиговых деревьев. Подъездные аллеи к некоторым европейским домам были усажены австралийскими эвкалиптами, густые заросли лаконоса в одном дворе создавали прохладную, непроницаемую полутьму. Из кустов доносилось «тиру-тиру» лесника – так эту птичку, собиравшую палочки, называла Альма.

Всю дорогу я ни слова не молвил двум жандармам, сопровождавшим меня домой. Несомненно, им хотелось скорее избавиться от подопечного и вернуться в город к опасным радостям карнавала. Карнавал – время разнузданной вольницы; в прошлом году начальника городской полиции нашли в самом злочном квартале старого города, пьяного и одурманенного, без документов и формы, с телом, раздутым, как рыба-шар, в гамаке у одной местной девицы. Это случилось как раз в том районе, где сегодня был я, в проулке за рыночной площадью, которую построили испанцы и мощеной дорожкой отделили от центрального рынка на площади Независимости. Вина моя была тайною; жандармы не могли знать, что я направлялся на скотобойню, дабы посмотреть, как забивают стада ревущих в истерике животных. И хотя мне еще предстояло объяснять, что я делал в старом квартале, в глазах закона я был не злонамеренным нарушителем, но жертвой, которой грозила опасность и которая имеет право на защиту.

Когда мы въехали на подъездную аллею, обсаженную пламенеющей азалией, я увидел коня, что стоял, склонив голову, и понял, что мсье Фламарион ждет в доме уже часа два с лишним, раздраженный и алчущий покарать меня за столь вопиющее нарушение

приличий. Его волновала не моя безопасность, а лишь то, что ему причинили беспокойство.

Дверь на переливчатый звон колокольчика открыла Альма, я ураганом помчался наверх, даже не поздоровавшись, а мсье Фламарион принял одного из жандармов в библиотеке. Я заперся у себя в комнате и не отвечал на настойчивые призывы Альмы. Я хотел быть один, я решил записать впечатления о сегодняшнем происшествии. Лишь так удастся исторгнуть его из головы, одну деталь за другой. Преображение невероятного зрелища в слова меняет переживание, и я сам, а равно событие в пересказе становятся чем-то иным. Мне хотелось скорее погрузиться в эту перемену. Я думал, что, если сумею выйти к мсье Фламариону персонажем, облеченным в намеренный вымысел, я окажусь вне его досягаемости. В рассказе моем будет путаница, однако не равная лжи. Мне вдруг открылось, что можно научиться так жить. Предвосхищая любой шаг его вымышленной подоплекой.

Я стоял у окна, слушая утешения моря. Оно колыхалось всегда, даже если его не было слышно, – вздымалось в такт моему дыханию, полым изгибам моей диафрагмы.

Властный тук-тук мсье Фламариона вывел меня из задумчивости. Мсье Фламарион знал, что ему незачем произносить слова; его повеления выполнялись беспрекословно, заставлять не требовалось. Я послушно открыл ему дверь. Он стоял на пороге, заложив руки за спину и выпятив грудь, а его пустые глаза смотрели куда-то поверх моего плеча. Он был в светло-сером костюме и розовом, как грудка снегиря, жилете. Похоже, он крепко выпил. Его дыхание отдавало можжевельником, почти одеколонным запахом джина.

– Хочу с вами поговорить, внизу. – Больше он ничего не сказал: развернулся и пошел вниз, не оставив мне иного выбора, кроме как последовать за ним.

Постучав, я вошел в комнату, набитую мебелью и безделушками в имперском стиле, которые мать привезла из Европы. Эта массивная мебель словно излучала уверенность, что она тебя переживет. Представ перед мсье Фламарионом, я подумал, что девятнадцатый век так и останется – прижатый к земле балластом гостиных и кабинетов, пропитанных запахом кардамона.

42 Тишина в комнате сгущалась, пока мне не почудилось, будто я очутился под водой, по-рыбьи овалом раскрываю рот под необъятной стеною моря.

– Не стану вас утомлять долгими нравоучениями – вы и сами все понимаете, – начал мсье Фламарион, упершись взглядом в один из двух маленьких итальянских пейзажей. – Вы не только нарушили запрет отца, который велел вам не ездить в город во время карнавала. Вы еще и оскорбили своего учителя, не явившись на занятие.

Уже потеряв интерес к его нотации, я смотрел на свет, лившийся сквозь ароматные листья эвкалиптов за окном. Если меня отправят в бесконечное плавание в Бордо через Атлантику, я готов ехать немедленно. А затем я накажу отца пренебрежением к его наставлениям; в своих письмах он будет требовать послушания, а я буду волен не слушаться. Я не оставлю ему ничего, кроме лица моей матери, недостижимой в смерти: ее черты воспротивятся его попыткам восстановить сходство со мной. Я уже умел проникать под оболочку всякой личности и трогать разлагающихся моллюсков в их раковинах.

– Ваш отец непременно об этом узнает, пусть даже я из деликатности не помяну о вашем поведении, – продолжал мсье Фламарион, не в силах скрыть удовольствие, которое ему доставляла роль двуличного посредника. – Позвольте заметить: потеряв доверие отца, вы вполне можете лишиться наследства. Вы напрасно полагаете власть ущемлением своих

интересов: она исподволь объединяет, определяя наше место в социальной иерархии.

Мсье Фламарион протер свой монокль – маленькую стеклянную луну, очерченную радужным ореолом. Его манеры смягчились; неумолимое негодование сменилось задумчивостью. Меня насторожила эта смена тактики, этот просветлевший взор – я научился читать по ним, как по судовому журналу, где отмечены встречные течения.

– Мы живем в трудное время, – продолжил он. – В своих мемуарах я остановлюсь на этом подробнее. Эту страну вечно раздирают жестокие бунты. Люди здесь мрут, как свиньи.

Наступила тишина – я размечал ее шумом прибое, настоящим или воображаемым. Мне хотелось оказаться на берегу: смотреть, как волны набегают на берег, светлея от сапфира до зимородка.

– Будь вы простым человеком, Дюкасс, – вновь заговорил мсье Фламарион, – сегодняшний случай не имел бы такого значения. Но если принять во внимание положение вашего батюшки и крайнюю напряженность политической обстановки, вашему присутствию в квартале, который, как я понимаю, имеет сомнительную репутацию, должно быть очень убедительное оправдание.

Мне пришло в голову, что сие – тонкий намек: мне предлагают вступить в тайный сговор с этим ничтожным педантом, который стремится вознестись к вершинам власти. Я давно уже подозревал, что мсье Фламарион тайком изучает личные бумаги отца. Мои подозрения основывались не на осязаемых доказательствах, скорее на моем видении склада его ума, втайне жаждущего признания за действия, которые он ради приличия должен скрывать. Он позволил мне заметить его молчание – очень умно. Я научился узнавать его уязвимость, напряжение – то были улики вернее любых слов, улики вины, которой

я тоже был как-то сопричастен. Его незримая паутина легла мне на лицо. Теперь он мог наблюдать плоды своей искусной работы, переплетение моих мыслей с его собственными.

– Также должен вам сообщить, – продолжал мсье Фламарион, – что вашего батюшки не будет дома до конца карнавала. Он уехал в Сан-Хосе по служебной надобности, оставив вас на мое попечение. И мой вам добрый совет: идите к себе и подготовьтесь к уроку, который вы пропустили сегодня. А за ужином мы обсудим, как компромисс знаменует победу, сдерживая силу, коя слишком жестка, чтобы проявить ее в битве. Подобный опыт не из тех, что приобретаются с годами; скорее, это знание, как воспользоваться ситуацией, когда скрытая сила превышает явленной слабости.

Мсье Фламарион погрузился в молчание; видимо, ждал моего безмолвного одобрения, давая мне время осмыслить его слова. Они летели, словно камушки, брошенные на мелководье: видно, как они спиралью опускаются на песчаное дно. Я различал их по цвету и прожилкам узоров: синий, зеленый, камушек цвета бычьей крови, вкрапленный в свою тень.

Я поднялся к себе, укрепившись в решимости сбежать из дома. Я ощущал, как тирания середины девятнадцатого века железным обручем перехватывает дыхание. Отец неприступен, мать мертва, а теперь еще мой учитель пытается втянуть меня в преступный заговор против отца. Я выглянул в окно и почувствовал, как голубой воздух бьется мне в грудь завитками прохладного пламени. С абсолютной ясностью я увидел не белые виллы на изгибе побережья, но пролом в ткани мира, выход в иное вечное измерение, конус яркого света, в котором я прозревал лунный пейзаж и людей, уцелевших, сбившихся в кучку, синевато-багровое небо, испещренное боеголовками, а надо всем – черную радугу.

Это видение стерло действительность. Я постигал преобразующую силу фантазии: реальность была неисчерпаемым озером у меня внутри, паводком, объявшим меня. Чтобы жить, я должен научиться защищать эту внутреннюю территорию, созерцать эти черные озера, подобно лебедю, притихшему в дымчатом убежище сумерек. Мне вдруг открылось, что секрет – во мне. Красный ягуар, бегущий по синему пляжу под небом, что полосато, как зебра, существовал потому, что его выдумал я.

Я никак не мог сосредоточиться на «Федре» Расина. Я жаждал иных строк – строк, опаляющих нервы. Чаще всего я обращался к Бодлеру и По – то были мои корабли, на которые я восходил, отчаянно стремясь достичь пустоты; когда же мне хотелось неестественного, я обращался к скептической рассудительности Монтеня.

Внутри я кипел. Мсье Фламарион, вероятно, вновь взялся за книгу. Наверняка «Замогильные записки» Шатобриана, но чтение не захватывает его: некая часть разума оценивает будущую добычу, лучом высвечивая образ жертвы, для которой готовится западня. Где-то в прошлом, в какой-то момент, он взял меня на заметку как некое подспорье для воплощения его планов; с тех пор невидимая стрелка непрерывно указывала на меня, и, сам того не сознавая, я был отмечен.

Снаружи ветер тормозил листья на шпалерах и трепал кисточки пампасной травы.

Я услышал, как Альма подошла к моей двери и затаилась. Ее присутствие выдавал шелест дыхания. Я чувствовал, как она привстала на цыпочки; внутреннее напряжение понуждало ее следовать траектории натянутых нервов, что тянулись к нереализованной завершенности. Интересно, о чем она, замерев, думала в эти мгновения, когда разум ее уже шлифовал то, чего ей предстояло достичь?

Я сосредоточился на чистой странице и отдался автоматическому письму – она метода, как я обнаружил, весьма точно передавала подсознательное в словах.

И вот я вышел на поиски потерянного города Зальзибы и сквозь мираж прозревал стадо единорогов, что замерло среди фламинго в синем пруду. Гора стояла вершиной вниз, гигантским наперстком в сияющей ряби. Я видел, как снег на вершине соприкасался с водой, мерил ее, точно лотом, на озерных высотах подвесил перевозданный образ – бог в облике утопленника, застывший, как водяная крыса, в хрустале своего творения.

Я продолжил странствие и встретил карету, запряженную четверкой белых тигров: она ехала к дому, скрытому кленами.

Я стоял и смотрел ей вслед, и ко мне приблизилась юная дева в распахнутой блузе, так что видны были груди, подобные двум желтым розам, подошла и протянула мне длинностебельный кальян. Она сбежала от старого книжника, возвращавшегося в поместье в той самой карете. Всю свою жизнь он посвятил изучению взаимосвязей приливных течений Босфора и эротических ритмов тела в оргазме...

Альма тихонечко постучалась в дверь, но я сделал вид, что не слышу. Я не хотел, чтобы приглушенный стук ее костяшек вторгся в мое повествование. В ограниченном радиусе моей жизни я не мог довериться никому. Взрослый мир, по видимости, пребывал в перманентном сговоре против юных, погрязнув притом в закоренелом антагонизме внутри себя.

Я не откликнулся ни на второй стук, ни на третий, а открыв наконец дверь, почуял мамины духи: прах фиалок, облагороженный в Париже и выставленный на продажу в дорогих хрустальных флаконах. Альма явно переборщила с духами – неприятное вторжение,

будто она надела чужую кожу. Ее черные глаза, не видя, скользнули по моей развороченной постели, по морю бумаг на столе: беспорядок в комнате был как отражение моих растрепанных чувств. Мне хотелось защитить творческий хаос, выгнать Альму, но она уже смотрела прямо на меня обезоруживающе, словно разглядела во мне податливые струны гитары, которые только и ждали касания ее пальцев. Тонкое тело, притаившееся внутри, источник таких противоречий, извлечено на поверхность. Меня раздражали и влекли намеки в ее жестах, поучительная пристальность ее взгляда: он толкал меня к очевидной роли, понуждал к провокации. Я упал на кровать и падал все дальше, в колодезь бессознательных образов. В мозгу оживали фрагменты уличных сценок. Солдаты гнали из проулка юного мексиканца: его губы все еще краснели гранатовым соком. Добела раскаленные параллелограммы, трапеции и ромбы никак не давали пейзажу замедлиться и замереть. Я видел рыбацкую лодку у берега, она покоилась в кубке света. Затем рев прибора затопил уши: вселенная таяла в темноте, губы сложились и вытянули из меня дыхание, двигались, оставляя ожоги на шее и горле. Безо всякого моего участия Альма мяла меня грудью, замедленно плыла сквозь плоскости, что разбивались, как льдинки, и осыпались на мой смущенный разум.

Я попытался вынырнуть, но ритмичные круговые движения ее бедер уже сцепились с моим возбуждением. Что-то во мне шевелилось, подобно личинке, огонь, которым я не умел управлять, разгорался, подгоняя жар к инстинктивному выплеску. Альма оседлала меня, и я ощутил, покорившись, что меня больше не тянет на дно, но качает на мягких волнах. Я вошел в этот ритм, как танцор, уловивший биение барабанной дроби, треск маракасов. Меня воздело на гребень волны до предела. Волна уже мчалась к берегу, крутому, почти отвесному, что вздымался

над морем вогнутой аркой и возносил меня ввысь, в ослепительный белый блеск жгучего грохота, свирепых громовых раскатов взрыва.

Потом она ушла. Я лежал на промятой постели, и в голове у меня горел фосфор. Теперь, когда все закончилось, мне еще надо было убедить себя в том, что это случилось на самом деле.

48

В доме по-прежнему стояла тишина. Где-то в его пещерной глубине мсье Фламарион, наверное, уснул над книгой. В это мгновение у каждого из нас было свое, отдельное восприятие мира, и я подумал об одиночестве, в котором обитает всякий человек.

Я вытянулся на кровати, отдавшись теплу, что разливалось по телу. Снаружи в небе летали ласточки, скользили вдоль карнизов, с упругостью кнута вычерчивая бешеные зигзаги в воздушной беготне. Если я растяну это мгновение в бесконечность, я смогу жить им и дальше. Волна обернется фризом, прозрачным безвременным холстом, на котором послеполуденный свет нарисует мсье Фламариона, заснувшего над книгой, переплетенной в телячью кожу, и все шаги Альмы, соблазнявшей меня, и карету отца, застывшую на пути в Сан-Хосе, и ласточек, резко ныряющих над морем, – а поверх всего этого розовым заливают мрамор невидимые лучи моего сознания, преобразующие реальность.

Соглядатай: Три

Ваше отсутствие по делам совпало с карнавалом. Изучив семейные счета, я понял, что ваш сын живет на собственные средства. Он любит деньги – они дают ему преимущества в городе. Однако здесь он ничего не тратит. Книги, которые ему дороги, он выписывает из Парижа, равно как и шелковые галстуки, столь им любимые. Он достаточно быстро установил сеть деловых связей. Может быть, вы захотите, чтобы я изучил ее более пристально, однако ключ, который взламывает систему, – X.

49

Ваша домоправительница Альма возбуждает мое любопытство – не потому, что интересует меня как личность, но с точки зрения ее отношений с вашим сыном и Гюставом Фламарионом. Вполне естественно, я задаюсь вопросом: что она знает такого, чего не знаю я? Она знает вашу семью изнутри, но языковой барьер представляется неодолимым. Я никак не могу к ней подступить. Может быть, Фламарион преуспел больше? А если да, стало быть, его связь с нею затрагивает вашего сына. Надеюсь, вы меня понимаете. Я глубоко убежден, что Фламарион влияет на жизнь вашего сына существенно больше, нежели его знакомые в Монтевидео.

Поразительно, что столь молодой человек приобрел жизненные предпочтения, столь мало связанные с его средой. Он уже воспитал в себе любовь к Шопену и Листу, посещает фортепьянные концерты в доме некоего Джеймса Лоуэлла, американца. Все, что он

делает, несет на себе отпечаток уверенности, не свойственной неопытному юнцу, но присущей тому, кто прав и знает, что со временем за ним последуют и другие. То, что поначалу я принял за претенциозное высокомерие, я склонен теперь полагать сдержанной убежденностью.

В первую ночь карнавала, после того, как мсье Фламарион выбрал вашего сына и, вне всяких сомнений, отослал в комнату, я счел, что продолжать наблюдение нецелесообразно.

50

Я решил вернуться в Монтевидео и проследить за домом X на Биста-дель-Мар. Мне представлялось очевидным, что ваш сын непременно появится в этом районе, если сбежит в город.

Глава 3

Когда я проснулся, в доме было тихо, и дымчато-синие сумерки разливались за окном. Слышались взрывы петард, небо сверкало огнями, трескучие фонтаны рубиновых и изумрудных искр по дуге осыпались на землю дождем угольков. Из моего окна видна была гавань в переливах предвечерних карнаваловых огней. В порту стояли португальские и французские трехмачтовики, над городом зависли клубящиеся облака порохового дыма.

51

Я стоял у окна, вдыхая теплый воздух Атлантики; ветер с моря путался в складках моей рубахи, каждый нерв звенел в предвкушении карнавала – я намеревался уйти в город, когда стемнеет. Утреннее происшествие взволновало меня и пробудило неугомонное желание найти давешнего противника и, если возникнет нужда, возобновить схватку. Внутренний голос подсказывал, что это намерение взаимно, что где-то в проулке трансвестит уже румянит щеки своей маски розовым, готовясь к вожделенному столкновению.

Пока я стоял, глядя на залив, в памяти неожиданно всплыло лицо матери. Это был образ, который я видел по вечерам, когда она навещала меня, – подбородок присыпан пудрой, серые, как штормовое море, глаза взирают на меня из глубин боли. Если мать приходила поздно, она распускала волосы, освобождая их от черной ленты и шпилек, и они обрушивались на плечи ее и лицо золотыми струящимися завитками. Она всегда

говорила со мной как друг, которым непременно бы стала, если бы время позволило этому совершиться. Даже теперь, произнося ее имя, Селестина-Жакетта, я всякий раз заново осознаю, что ей некому было поведать о своих страданиях. Я не помню, чтобы родители спорили или ругались, никогда не слышал и не видел их недовольства, и все же трагическая развязка неудачного брака не могли быть результатом минутного порыва: то был закономерный итог горестных церемоний – невыразимый язык холодной супружеской постели. Вечерами приходя ко мне, мать сама возвращалась в детство. Она сохранила в себе что-то от прежней бесхитростной девочки: как и я, обожала книжки с картинками и марки с парусниками, но главное – заговорщицким тоном рассказывала мне сказки, и эти фантазии захватывали нас, удивляя не только меня, но и ее, переносили на незнакомую землю и грозили оставить там навсегда. Мы были бы вдвоем, бродили по озаренному солнцем острову, наша лодка пламенела бы на прибрежном песке, и никто бы до нас не добрался.

Эти вечерние сказки обособляли нас от отца. Он сидел внизу, готовил отчет, его тень ложилась на бумагу сумрачной областью полузатмения, свои respectable занятия он охранял, будто свирепый сторожевой пес. А мама – казалось, ей не хотелось разлучаться со мной: здесь был другой мир, вид на синий залив и гавань, куда заходили парусные и паровые суда под разноцветными флагами. Барьеры между нами осыпались и расплывались, и наша непринужденная близость была точно слияние двух рек, соединившихся в горном ущелье, чтобы потом вновь разделиться, обретя свои русла.

Если мать задерживалась у меня, мы предчувствовали, как Альма тихонечко постучится в дверь; и тогда мамин взгляд тускнел, и на лице отражалась тревога – словно ветерок пустил рябь по спокойной воде. Весьма

изящно она приближалась к зеркалу, без помощи Альмы подвязывала волосы лентой и оправляла юбку, точно ее застали на свидании с любовником. Уходя, она будто старилась на десять лет – уже не мой сообщник в путешествиях по островам, но благонаравная женщина, послушная супружескому долгу.

Я оделся к ужину: белый льняной костюм, белая рубашка, черный бархатный галстук. Одевание было просто очередным ритуалом, выражавшим мою обособленность. В этом доме я был никому не нужен, как и в этом европеизированном городе, напоминавшем Константинополь на атлантическом побережье Южной Америки. Я всегда очень остро сознавал эту грань: береговая линия отмечала предел, за которым все было абстракцией. Где-то, безнадежно затерянная на моей мысленной карте, располагалась Франция, откуда уехали мои родители и куда – по причинам языковым – меня вскоре отправят учиться. Мне уже исполнилось тринадцать, и сегодня я впервые познал, что значит быть мужчиной. Соль и звон оргазмической вспышки.

Я слышал стимулы ночи – барабаны, тамбурины, пикколо, гитары и кабакиньо, слитые в ритме самбы для короля карнавала Момо, чье жирное клоунское лицо колыхалось над гаванью в виде воздушного шара.

Войдя в столовую, я обнаружил, что мсье Фламарион уже сидит за столом: справа – открытая книга, слева – рубиновое мерцание бокала. Он снял очки для чтения – жест обозначил, что уединение изысканий сменяется общительностью, сопровождающей ужин. Мсье Фламарион был на удивление чопорен – вероятно, решил я, тому причиной отсутствие отца и давящая тень, что ложилась на дом, как только отец, едва заметно прихрамывая, пересекал порог.

– Надеюсь, вы провели время с пользой, за умной книгой, – сказал мсье Фламарион. – Чтение – это

процесс, посредством коего мы поглощаем чужие мысли в одиночестве; посредством беседы мы через размышление сей опыт присваиваем. Мне бы хотелось, чтобы вы рассматривали свои занятия именно в таком ключе. Вы сейчас в том возрасте, когда необходимость сидеть на месте кажется ограничением свободы, знания – тем, что приобретается в старости, а мудрость – сомнительным клеймом тех, кто предпочел жизнь без приключений. Подобные мысли вполне естественны в столь юные годы, но позвольте рассказать вам о жизни в терминах более доступных.

Я уже унесся мыслями в дальние дали. Я знал лишь интуитивные, непредсказуемые созвездия образов, что составляли бессознательное. Мсье Фламарион отрепетировал сей зачин: это чувствовалось.

– Пьер Ронсар в своей оде, которую мы разбирали – вы должны помнить, – дискредитирует поэзию как верный путь к нищете. Время стирает все, и забвение уготовано даже великим творениям Анакреона, Симонида, Филета или Вакхилида. Уверенность в завтрашнем дне, положение в обществе – они достигаются иными путями. Имея в виду пожелания вашего батюшки, я бы советовал вам обучаться в Тарбе и приобрести профессию. Воображение или, скажем так, страсть к изящным искусствам неизбежно ведет к тому, что Ронсар нам описал.

Больше, чем суть его непрерываемого монолога, меня встревожил намек на мое тайное сочинительство. Подозрение, что мсье Фламарион позволяет себе рыться в отцовских бумагах, сменилось страхом, что он добрался и до моих блокнотов, которые я прятал с таким тщанием.

– Ритм для времени – то же, что симметрия для пространства, – ответил я, надеясь, что мое оправдание поэзии останется незамеченным.

– В лицее в Тарбе, – продолжал мсье Фламарион, – вам придется подчиниться дисциплине, которая

требует неукоснительного прилежания в занятиях. День в лицее начинается в половине шестого утра и заканчивается в семь вечера. Школа не оставляет ученикам свободы для уклонения от оных правил, каково бы оно ни было. Но в этом есть и преимущества: сознание, что ты существуешь во времени, а не вне его.

Я уже почувствовал ловушку. Атлантический берег, в звуках которого отражались голубые глубины небес, деревья в лесу, на которые я взбирался, подобно зверю в брачный сезон, и сидел высоко над озерами, мечты сбежать и исчезнуть в глуби страны, за энтомологическими изысканиями проплыть на каноэ по изгибам сверкающей Амазонки; слова мсье Фламариона, такие безжалостно упорядоченные, перечеркнули все лазейки моего детства.

– Тарб вас подготовит к жизни в Империи, которая вновь обретет процветание, – размышлял мсье Фламарион над бокалом. – Перемены – инструмент, дающий импульс к дальнейшим переменам. Когда я стоял на Эспланаде инвалидов, под солнцем Аустерлица, как мы выражались, и слушал салют в честь триумфального шествия Луи-Наполеона к площади Отель-де-Виль, почти восемь лет назад, – для меня это было очередное начало. И взросление продолжает то же самое: готовишься к тому, что так и не случится, ибо, когда оно все же случается, ты его уже перерос. Будущее развеет тоску по прошлому очень быстро... Мне хотелось бы обсудить с вами еще кое-что, Дюкасс, – мы об этом обычно не говорим, – рискнул мсье Фламарион, потянувшись к хрустальному желобчатому бокалу.

В своем воображаемом мире я плыл по Амазонке, проникая в чащу влажных пальм бакаб, в непроходимый лес, где аллигаторы тычутся мордами в прибрежную пену.

– Ваши познания в истории все еще недостаточны, – продолжал он. – Ощущение прошлого, под каковым я

разумею ту манеру, в которой индивидуум пытается навязать свою волю господствующему этосу, обостряется пропорционально прожитым годам. Кровь была и остается речью истории, однако нам по-прежнему следует уделять внимание культурному просвещению разума.

56

Слушая его, я разгадывал безмолвную речь, которая несет истинное значение слов. Я давно уже понял, что язык – аккомпанемент мысли, а не средство ее передачи. Слова сами по себе часто вводят в заблуждение и указывают на внутренний диалог – смысл сказанного подобен низовому подводному течению, скрытому току под толщей воды, поэтому речь есть переплетение пауз, симпатическая подстройка к измерениям внутреннего пространства. Когда ты воистину постиг глубины человека, вы оба чувствуете избыточность слов.

За связными мыслями мсье Фламариона скрывались свирепые ассоциации, которые он не решался озвучить. Я где-то читал, что осужденных отправляли на гильотину босиком, в длинной белой рубахе, с лицом, закрытым черным капюшоном, который поднимали всего за миг до того, как отрубленная голова скатывалась в окровавленную корзину.

Было слышно, как палат в море корабельные пушки. Визгливая скрипичная нота петарды ливнем изумрудных звезд взорвалась высоко над портом. Перспектива мсье Фламариона сужалась. Ему удавалось не закрывать глаза, только когда он сосредотачивался на одной мысли, удерживая ее напряжение, ибо страшился выпустить ее и отправиться в небытие за нею.

Момент, когда его чувства непоправимо затопятся и мне удастся бросить вызов ночным проулкам, был все ближе. Когда мсье Фламарион с книгой подмышкой вышел из комнаты, я чувствовал, что он пытается сохранять ясность рассудка и на миг будто разгадал мои намерения, проломил мою защиту, точно вдрызг

пьяный матрос, возникший из портового тумана, намереваясь крушить.

Я поднялся к себе, и тело мое предвкушало, как оно вольется в ритм карнавала. Я знал, что сегодня во всех кварталах правит бредовое исступление – стихийно поставленный балет истерии. Ради праздничного волшебства все обменяются ролями; бедняки выйдут в масках богатых, рабы сделаются царями, мужчины – женщинами, женщины – мужчинами, и толпа разыграет легенду о «O rei de Franca na ilha da Assombracao», короле Франции на Призрачном острове. Серебристые, красные и белые костюмы придадут восхитительный блеск образу мальчика-короля и легендам о чернокожей старухе-рабыне из Мараньяо, чье колдовство превратило отверженного красавца-раба в серебряного змея.

57

С моего балкона я видел, что свет в окне мсье Фламариона уже погас. Я вдыхал ночные ароматы жимолости, сочные благоуханные дольки воздуха, кишашего мотыльками. Сколь часто я из этого окна взирал на сад, где самоцветные колибри пили нектар алых роз.

Сегодняшняя ночь станет первым этапом моего бегства из этого дома навсегда. Я заранее знал, что мой поступок не останется незамеченным, несмотря на тщательно продуманную маскировку, которую я приготовил для этого случая. Я отпер сундук, достал маску Пьеро из папье-маше; я баюкал ее в руках, словно череп. Эта маска, ее черный печальный рот, золотая слезка, сверкавшая на правой щеке, и черная бабочка на левой, являли двуполое единство противоположностей.

Я заранее настроился на торжественность ритуала. Очень спокойно снял одежду и застегнул перламутровые пуговицы на рубахе. Завороженно изучил свое лицо в зеркале, прежде чем заменил его маской. Свои черты я всегда принимал как неоспоримую данность.

Лишь теперь осознал я свой непомерный рост и явную сутулость, которая, благодаря моей уединенной жизни, еще не стала предметом насмешек язвительных одноклассников. Я не узнавал человека в зеркале; в орехово-зеленых глазах – по ним я всегда узнавал свои чувства – сейчас отражалось одно смятение. Я обратил вспять процесс выхода в мир и спутал сенсорные отклики, представив им двойника.

58

Прямые светлые волосы мои были непослушны, и у меня уже появилась привычка откидывать их с лица левой рукой – жест, неизменно бесивший отца. Я был худ, и мои длинные пальцы были созданы для колец. То была неожиданность – поистине столкнуться с собою лицом к лицу; в тревоге осознать, сколь велика пропасть между нашими представлениями о себе и физической реальностью.

На пробу я надел маску, чтобы привыкнуть к своей новой личности, – и будто воссоединился с собой. Я словно примирился с бытием до жизни. Я постепенно понимал, я осознавал, что маска соответствует мне настоящему, а потом – боль утраты, когда я снял маску и вновь столкнулся со своей заурядностью.

В доме было тихо. Я надел серое пальто, спрятав под ним расшитую блестками блузу и красное трико; маску я понесу в руках и надену только на окраине города. Я погружусь в коллективный дух карнавала, приобщусь к примитивным, анимистическим уличным церемониям, к темным богам, порождающим сексуальное иступление. Кровь прольется в перулках, женщин станут прижимать к стенам и насиловать, множество куриц сгорят заживо в пламени брошенных факелов, лошади будут паниковать и сбрасывать седоков, но ничто не сдержит толпу, и все сольются в экстазе, вбирающем неразделимые жизнь и смерть.

Выбравшись из дома, я в восторге пустился бегом. Я продирался через лес, и стебли тамариска

хлестали меня по лицу. Небо окрасилось жарким красным сиянием. Ключья дыма забили мне легкие, я задышался от едкой гари костров. В смятении я едва не споткнулся о пару, что занималась любовью в траве у дороги: стройные темные ноги обвивали белую талию, пальцы скользили вверх-вниз по спине, словно играли на гитаре. Пары усеивали предместье, точно созвездия, слившись в стихийных оргиастических соитиях. Небо над ними искрилось соцветиями красных лобелий.

59

Пешком до города я добирался дольше, нежели рассчитывал; то и дело я переходил на бег, и насыщенные, нестираемые образы прошлого пронеслись у меня в голове. Я снова переживал кошмарную тишину, охватившую дом в тот день, когда пропала мама. Тишина и подсказала мне, что мама умерла. Помню, я вышел в сад, который больше не узнавал. В тот день я помчался на пляж, не разбирая дороги. Они все еще были там, в глубинах моего подсознания: местные рыбаки, сидевшие на корточках, сбившись в тесный кружок на песке. Среди них была Альма, ее оранжевое платье невообразимо сияло среди лазури. Я приближался сквозь дерганую пелену картин: лицо матери в странных пятнах, спутанные волосы, мокрое платье облепило ее, словно водоросли, оставшиеся после отлива, из лодыжки сочится кровь. Эти невероятные превращения вновь разворачивались у меня перед глазами. Слова «Селестина-Жакетта» вгрызлись мне в мозг, а потом их повторили жгучие слезы. Они положили ее на песок ничком, и один рыбак давил ей на спину, чтобы освободить легкие, словно она была рыбой. Сейчас мне хотелось кричать, как тогда. Альма увела меня с пляжа, дергая за руку, прижимая к теплому телу, что приходило ко мне сегодня, одетое в мамино платье, дабы осуществить так и не случившийся кровосмесительный союз. И по дороге с пляжа, когда мои ноги передвигались сами

откликом на ритм шагов Альмы, истончившаяся пуповина, что по-прежнему соединяла нас с мамой, подобно спасательному тросу, растягивалась, стремясь к неизбежному разрыву. Я попытался убежать обратно, в направлении, противоположном тому, куда бежал сейчас. Но меня остановила сильная рука Альмы, размашистая пощечина, породившая солнечный рев у меня в ушах. Удар был силен, голова у меня мотнулась, и я пошел за Альмой в слепом повиновении, ее сердце и мышцы работали за нас двоих, на подъеме упорный шаг сбивался, но хватка ее сжимала меня, словно лиана, словно щупальце, что, обвив запястье, тянуло меня наверх, из темного кратера в сочную зелень и яркий свет дня.

Я уже задышался. И теперь, добравшись до городской окраины, ощутило нервничал. Драматические события дня, предвкушение опасностей карнавалной ночи, сбитое от долгого бега дыхание – все это усугубило мои лихорадочные галлюцинации. Воспоминания дезориентировали меня настолько, что мне казалось, будто я так и остался на пляже, пригвожденный к месту белым клинком света, отраженного от бешеной ряби полуденного моря.

Я встал у какой-то стены и помочился. Красный дракон из папье-маше косо болтался на плоской крыше, а в черном ночном небе колыхались воздушные шары в виде серебряных морских коньков. Ценности общества перевернулись с ног на голову – деньги, добытые тяжким трудом, ручьями пота, пролитыми на плантациях, сегодня в экстазе настоящего спускались на ветер. Было только «сейчас», внезапное погружение в чистое бытие. Все социальные привилегии растворятся в блеске перемен, утонув в первозданном хаосе.

Я вновь побежал, влетел в какой-то закоулок и в первый раз надел маску, пронзительно осознавая свободу, которую она мне давала. Теперь я жил и

дышал личиной: я стал кем-то другим. Повсюду смерть – бумажные и сахарные черепа и скелеты, и огни фейерверков сверкают в пустых глазницах.

Город был оттиснут на моих нервах, и я, хотя бывал не во всех кварталах, знал, как воплотить здесь все безотчетные желания. Из центра доносилась мамба – там шла главная процессия обезглавленных лошадей. Негритянский примитивизм, бившийся в этих ритмах, воплощал боль, заброшенность и бунт. Он уже проникал мне в кровь, трансформируя мое тело в гибкий изменчивый организм существа, повинующегося глубинным, первобытным инстинктам.

Люди стояли на балконах, играли на гитарах, бесконечно перебрасывались шутками, а потому диссонанс существовал на двух уровнях сразу, делирий уличных шествий сливался с истерическим крещендо карнавала на крышах. Всё и все будто стремились ввысь, где в иссиня-черной тьме неожиданно расцветали пуансеттии.

Сегодня каждый, кто верил в золотые копи Офира и что царь Соломон отправил корабли, груженные золотом, по Амазонке, к реке Жапуре, отыщут сокровища в тайниках своего подсознания. Заряженный воздух перенес меня в мою собственную вселенную. Я был шаманом, способным обратиться в волка и выпить кровь моего давешнего противника, или же вознестись в небеса, или спуститься в подземное царство и потребовать назад мамину душу.

В синхронных залпах петард я разглядел красный луч маяка, примостившегося на руинах старой крепости в пяти сотнях футов над гаванью – луч света, направленный в ночное море. Секунду я думал было подняться туда и отпраздновать карнавал с высоты, но людской поток унес меня в лабиринт переулков, что стремились к магниту единого центра – к видению из грез короля-ребенка, влекомого лошадьми в красных пополах.

Я двинулся вперед, и толпа прижала меня к волнующемуся хребту пестрого змея с глазами цвета граната; змеиная голова, сверкая клыками, возносила фаллическим гребнем к звездам. Мы слились в едином движении, в общем трансе, где одно сознание, сплетаясь с другими, обретало двойника в ритмах мамбы. Страх смерти, обостривший мои чувства днем, временно отступил. Я пробрался между бычьей головой и птичьей маской в серебряных перьях, и биение крови в висках словно отдавалось в коже барабанов.

Гигантская череда живых шествовала к мертвым. Ныне все обменяются личностями, все перейдут границы; кто-то исчезнет, как дикий лебедь, кто-то вернется, и никто не поймет, что они поменялись местами. Когда я все-таки вырвался из этой процессии зачарованных, тело мое по-прежнему откликалось на музыку. Я сбросил свое наследие; под моими танцующими ногами мерцали горячие угли, я был колибри, что проскальзывает сквозь распахнутую пасть ягуара.

Я свернул в переулок, где две фигуры в масках били в тамбурины и танцевали вокруг черной мулатки. Чуть дальше голова в тюрбане была занята фелляцией; искристая маска двигалась, словно руки умельца над гончарным кругом, ублажая позабытого партнера в темном дверном проеме.

Я принялся разыскивать человека, напавшего на меня в переулке за рыночной площадью. Отчаянное желание завершить неоконченное гнало меня по улицам. Слепленный дымом, я неожиданно столкнулся с главной процессией – игривым кошмарным шествием обезглавленных лошадей с алыми плюмажами в гривах; змей и бык располагались по бокам. В смятении я вообразил, как меня затягивает под платформу, затаптывает обезумевшая толпа. Я чуть не шагнул в этот вихрь, но тут кровь забурлила адреналином,

и я отскочил вправо от надвигающейся платформы, тело мое неловко продиралось над плечами надвигающихся танцоров, махало руками, рухнуло и наконец нырнуло в водоворот; крепкие руки подняли меня, не сбив процессию с ритма, и втиснули на место, где места не было вовсе – ребра мои болели, руки прижало к бокам, воздуха не хватало. Меня несло, точно сухую ветку в бурном потоке. В голове взрывались музыка и безумие тел, что двигались в такт. Меня развернуло, и теперь я шел с потоком, а не против него. Мне надо взять влево, миновать потерых, выбраться из давящей толпы, пробить брешь в людском заторе, что обрамлял тротуар, и одиноко бежать в старый квартал.

Смятый в толчее, я воображал белое шипящее облако над кипящей водой в вулканическом кратере. Мой рост позволял мне смотреть поверх голов, и я видел, что процессия собиралась свернуть налево, на главную улицу, что вела к отелю «Америкэн» и «Гранд-отелю»; когда участники шествия неизбежно замедлят шаг на повороте, я выберусь из удушающей давки. Ровно в тот миг, когда барабаны чуть примолкли и наш ряд иллюзорно замер, я ввинтился в узкую брешь, где толпа чуть раздвинулась: я пихался локтями, рикошетом отлетая от одного тела к другому, задыхаясь в яростном, неодолимом рывке к свободе; голова у меня кружилась – и наконец я выпрямился, выставив руки вперед, чтобы не налететь на стену, а процессия потекла за угол.

Я свернул подальше от толчеи в переулок. С балкона вверху доносились необузданные утробные стоны женщины, размечавшие восхождение к неминувшему оргазму.

Морщась в страхе, что меня узнают, я рассмотрел дыру в маске – длинный, ровный разрез, как будто полоснули ножом. Лицо, которым я так восхищался, которое вобрал в себя как истинную свою сущность,

было символически ранено. Та самая рана, которую хотел нанести мне вооруженный противник днем.

Я вновь надел маску – теперь я видел лишь то, что происходило прямо передо мной. На каждом углу я ждал воплощения моей навязчивой идеи: светло-вишневая маска скрывает лицо, алая блуза, подколота булавками, обнимает фигуру, желтое трико обтягивает ноги. Первое утреннее потрясение – я перепутал пол моего противника – унялось, едва я понял, что можно быть мужчиной и женщиной одновременно. Расплавленная аморфность моей юношеской сексуальности излилась в форму двойственного объекта желаний. Любовь Альмы не принесла мне удовлетворения: ее плоть душила меня, не явив ясности, за которую я пожелал бы уцепиться. Она парила над моим распростертым телом в позе, которая, представлялось мне, больше пристала мужчинам.

Я пробрался сквозь влажный дым к пролому во тьме. Нависшие дома показались знакомыми; я наверняка сделал круг и вышел в проулок за площадью Независимости. Крыши домов истекали музыкой. Гитары откликались на настроение певца: черная тягучая меланхолия дождя над горной заводью или бешеные взмахи крыльев фламинго, взмывающих над озером.

Я замер посреди улицы, слушая, как мои мысли выбивают ритм лихорадочного диалога. Опустившись на одно колено, я рассмотрел дыру на штанине: правая рука ощупывала левую ногу, левая же оперлась на мостовую: растопыренные пальцы вдруг обдало жаром жгучей крови – тонкий стилет воткнулся между камнями в пыльном клине безымянного пальца и мизинца. Я отпрянул, распахнув рот, вглядываясь; нервы, растерзанные этим навязчивым переходом от безопасности к угрозе, тряхнуло электрическим током. Меня застали врасплох в раздумьях, ударом ножа втокнули в реальность, где я был беззащитен.

Весь мир сузился до тонкого суженного лезвия, будто рукоять его являла полярность для моего бытия, мою подлинную сущность, которую я искал, а теперь нашел и уже не смогу жить иным представлением о себе. Я ждал вызова, которого не последовало. В застывшей, стилизованной позе я будто продлевал хореографическое мгновение, завершение коего зависело от невидимого партнера.

Я по чуть-чуть развернулся на каблуках туда, откуда появился нож. Мучительными рывками я преодолевал крошечные сегменты воображаемого круга, заключившего меня в себе. Я был словно человек, что медленно вертится на круглой пластине льда и наконец понимает, что синий океан подступает к нему со всех сторон. Из дверного проема падала тень. Неподвижная тень лежала на мостовой, и угловатая костлявость человеческой фигуры тончала до расплывшихся чернил. Сначала я услышал смех – безудержный фальцет в ритме свистящего хвоста кометы. А потом увидел его: маска, нацеленная на меня, как было днем, алая блуза, усыпанная переливчатыми бриллиантами, яркие, воспаленные цвета, сокрывшие загадку. Он стоял, привалившись спиной к деревянной двери, неумолимо спокойный, и сама его безмятежность дышала угрозой. Что-то во мне повлеклось к этому гибриднему существу. Каждый нерв в моем теле дрожал, отзываясь на чарующее притяжение: я тянулся к нему, словно зверек, что, загипнотизированный ужасом, покорно идет в пасть тому, кто его выследил. Едва я шевельнулся, он исчез в лестничном сумраке – иллюзорная фигура, манящая опасность.

Я поднялся, голый под лупой собственного взгляда, что созерцал мою скованность; я знал, что дороги назад нет и если я не пойду следом за ним сейчас, он всю ночь будет охотиться за мною, за священной карнавальная жертвой.

Соглядатай: Четыре

66 Скорее всего, Изидор Дюкасс вышел из дома где-то между 11 вечера и полуночью. Тут интуиция меня не подвела. Я подозревал, что его резоны погрузиться в безумие карнавала связаны были скорее с X, нежели с желанием поразвлечься.

Мне повезло: гуляя по набережной в тот вечер, я встретил одного американца, знакомого вашего сына. Он пил вермут в баре на пристани, был слегка навеселе и изрядно говорлив. Он был в белой панаме и не пытался скрыть толстые пачки долларов, расованные по карманам.

Я быстро втерся к нему в доверие и упомянул имя вашего сына. Оказалось, что случайным знакомцам Изидор Дюкасс представляется как граф де Лотреамон. Вероятно, он пользуется псевдонимом, чтобы за ним не могли проследить. Согласитесь, что для человека столь юного он прекрасно владеет тонким искусством двуличия. Об отношениях с вашим сыном американец говорить остерегался. Я сделал вид, будто сочувствую его природным склонностям, и порекомендовал места, где он мог бы завести интересные знакомства, но мои слова были встречены с подозрением. В подпитии люди всегда отчасти сдержанны, поскольку опасаются, что болтливость поставит под угрозу их секреты.

Однако мне удалось вызнать, что в отношениях Изидора Дюкасса с иностранцами в Монтевидео имеют место денежные транзакции. Уплачиваемые

суммы – либо деньги для шантажистов, либо вознаграждение за некие услуги (тут надо учесть, что благодаря вашей должности сын ваш находится в положении привилегированном), либо связаны с контрабандой.

В карнавальную ночь Изидор Дюкасс пришел на Биста-дель-Мар в полном истощении и очевидном расстройстве. Его костюм арлекина порвался на колене, маска Пьеро раскололась. Мне еще предстоит узнать, где он добыл этот костюм, но я нисколько не сомневаюсь, что систематическая проверка выявит поставщика. Высокий рост вашего сына, его сутулость, длинные всклокоченные волосы, его погруженность в себя и нервная сбивчивость речи выделяют его среди местных. Как и интеллигентная сдержанность, указующая на недюжинные способности, которые он скрывает. Он также употребляет старые бонапартистские словечки, которые перенял у Гюстава Фламариона.

Он пробыл у X более полутора часов, после чего весьма спешно покинул дом и удалился, находясь за пределами моей досягаемости; в конце концов я удостоверился, что он возвратился домой. Судить о цели его пребывания на Биста-дель-Мар я представляю вам.

Я по-прежнему не способен раскрыть двуличие вашего сына посредством выявления каких-либо конкретных действий, и это меня беспокоит. Его личная жизнь остается загадкой. Я, однако, надеюсь, что со временем смогу предоставить вам отчет о более явной деятельности сексуального или же криминального свойства.

Глава 4

68 Путь наверх освещал оранжевый свет лампы на лестничной площадке первого этажа. Я был волком в овечьей шкуре – как я сам понимал метаморфозу, что еще совершалась со мной. Я перешел границу личности: лицо мое было не творением родителей, но пригодной для жизни конструкцией воображения.

Шелковыми лапами ступал я по лестнице, привыкая к выбоинам в камне, блеску ступеней, отполированных усталыми ногами, ногами проворными – тягучая апатия, бурная радость лирической спешки. Я шел к свету, не обремененный наследием прошлого. Если у меня и были границы, они растянулись до вселенских пропорций: я ступал по лазурному вертящемуся глобусу, а не по сбитым ступеням винтовой лестницы. Я поднялся на второй этаж и увидел приоткрытую дверь – розовая лента света текла от косяка. Стоя перед дверью, я не сознавал, что привело меня сюда, что погнало из родительского дома; мальчик, которого скоро отправят в Европу учиться в привилегированном лицее, застыл перед входом в комнату, освещенную дымным сиянием ямы из Дантова ада.

Толкнув дверь, я сперва не увидел его. Комната с белеными стенами была забита цветами, собранными, надо думать, с карнавальных улиц. Нарциссы, синие ирисы, красные и розовые гвоздики, лилейные рога изобилия. Я разглядывал грубо сколоченный деревянный стол, стулья и жесткий хлопковый полог, отдернутый над огромной кроватью, занимавшей

чуть ли не полкомнаты, не задумываясь, что, быть может, он ждет снаружи: затаился в сумраке выше на лестнице, едва дышит, пока я вхожу в расставленную ловушку.

Здесь не было почти никаких вещей. Ноздреватые корешки выцветших на солнце книг, непримечательное палисандровое распятие, бутылка и стакан на столе, как застенчивая композиция, выстроенная для натюрморта, – вот и все, что я поначалу разглядел в приглушенном свете. Я стоял на пороге, боясь утратить заряд энергии, остро сознавая, что впервые в жизни вторгся в чужие владения. Я оказался на изнанке ночи, откуда веселье на улицах смотрелось иначе. Я отошел на ту малость, что допускала отстраненный взгляд. Я словно замер в преддверии по случаю великого исторического решения, и на краткий миг рев людского приboя затих, пока ребенка, разгоряченного после сна, пеленали в мантию, расшитую королевскими лилиями, и поднимали повыше пред свитой.

Кровь бешено стучала в висках, отмеряя секунды. Меня унижала простота комнаты, ее скупая неприятельность, простой дощатый пол там, где его не скрывал ковер из разбросанных цветов. Сознание вбирало эту комнату, растворяло в себе, как вода растворяет завиток синей краски с кончика кисти. Она наполняла меня, клубясь, а потом я услышал, как за спиной со щелчком закрылась дверь.

– Стало быть, ты пришел, – сказал голос, не дожидаясь, пока я обернусь, а я по-прежнему смотрел в синее окно с текучими дугами фейерверков. – Я знал, что ты вернешься. Видишь ли, я давно слежу за тобой. Молодой человек, не соответствующий заданной роли в жизни, – он всегда привлекает внимание. Я знаю, где ты бываешь в городе: скотобойня, улицы; я видел, как ты заходишь в большие отели. Ты ищешь то, что я сам давным-давно разыскал.

Голос, заговоривший со мной, был неспешным, отчетливым и грудным – будто слова произносились сперва внутри и лишь потом всплывали на поверхность. Как будто такова была их глубина. Их выдыхали тайному наперснику, невидимому посреднику, а уж затем они устремлялись к тому, кто их услышит.

Мне не пришлось оборачиваться: фигура в костюме арлекина широко обогнула меня, шагнув от дальнего края круглого стола. На нем по-прежнему была светло-вишневая маска, и узкая прорезь для рта слегка искажала голос. Я решил, что облик этот и есть подлинное лицо, что, как и я, человек, скрытый под маской, в карнавальной личине обрел свою истинную сущность. В этом мы были тождественны, а во всем остальном – чужды.

– Почему ты за мной следил? – Я услышал, как спрашиваю об этом, и слова будто сами складывались в созвучия, бессодержательные, уже неуместные, а он сел на кровать и смотрел на меня, невозмутимый, будто знал, что я никуда не уйду, пока не узнаю причины его побуждений.

– В первый раз я увидел тебя на пляже, – продолжал голос. – Ты был голый, потому что стояла жара, а ты был один. Я был выше, на скалах, и смотрел на залив сверху. Я хорошо знаю берег, все его очертания, все глубины и отмели, и место, где можно причалить, прежде чем пересечь устье Рио. Если жить, как живу я, приходится знать такие вещи. На этом берегу встречаешь солдат с девчонками из города, туристов, людей, что пришли, ибо им не всегда удастся облечь свои устремления в слова, инакомыслящих в ожидании дела жизни, иногда береговую охрану. Ты был у моря, но на самом деле – в своем мире. Я видел, что тебе было бы все равно, если б море и берег исчезли... Такая у меня жизнь, я бываю где-то лишь с определенной целью: время – деньги. Но ты был как ребенок,

завороженный пламенем. Мне хотелось проникнуть в твоё сознание и раскрыть тайну. И еще меня очень встревожило, что ты поверяешь свои мысли бумаге. Когда мысли выражены словами, они раскрывают тебя. Я никогда не хотел, чтобы меня вычислили. Я не оставил ни единого слова, даже подписи. Если живешь только на слух, люди не помнят, что ты говорил, а ты многому у них учишься... Когда ты ушел с пляжа, я последовал за тобой. До белого дома, где, как я понял, ты живешь с родителями. Я смотрел на освещенные окна и представлял, как ты один, у себя в комнате – может, сидишь за столом, читаешь или пишешь. Я узнал, который из двух – твой отец. Второго я уже знал в лицо.

Слушая голос, повествующий о моей жизни, о внешней жизни и внутренней, я постиг, что мое детское одиночество было иллюзией: у меня оказался невидимый спутник. Все время, пока я нежился в лазурной пещере, за мной наблюдали. Незримая тень всегда лежала на прибрежном песке. В какую тишину погружался он – должно быть, даже мысли приглушал до минимума. Он жил через прорези глаз, двух щитов, регулирующих поступление света; его поле зрения интуитивно постигало мою потребность в одиночестве.

– Когда ты повадился на скотобойню, следить за тобой стало еще интереснее. Я видел, что картина тебе отвратительна, и однако же тебе нужно было пройти через этот опыт. Я следил за тобой. Я видел, как на твоей рубашке проступали пятна пота, когда ты снимал куртку, и как ты бледнел, наблюдая за быком, что упирается и ревет, не желая идти под нож. Ты, должно быть, считал, что эти походы на бойню – твой самый главный секрет. Но мы никогда не бываем свободны. Кто-то всегда наблюдает, и в конце концов мы надеваем маски, дабы сразу бросаться в глаза, и тогда люди больше на нас не смотрят.

Его голос прокалывал клетки моей памяти; в глубине вспыхивало, серебряные пузырьки мчались к поверхности, и каждый заключал в себе зримый образ.

– Ты лжешь, – закричал я, взбешенный его язвительным тоном. – Ты ничего обо мне не знаешь.

– Еще я знаю про твою мать, – продолжал голос, исполненный спокойной уверенности. Он поджал под себя ноги и посверкивал блестками на куртке. – Я был на пляже в тот день, когда ее выловили из моря. Я уже говорил, что почти все время провожу на берегу. Ты – не единственная тому причина. Меня называют Дамой Червей. Сейчас не видно, но у меня вся спина татуирована красными сердечками. Для меня время определяется действием. Для тебя время – это когда держишь зеркало перед собственными мыслями. Снаружи тебя называли бы Нарциссом.

– Снаружи – это где? – спросил я. – И кто ты такой, чтобы следить за мной?

– Говорю же, я Дама Червей. А ты – Изидор Дюкасс, сын французского дипломата. Ты всегда будешь сутулиться. В школе тебя станут за это дразнить, а когда ты побежишь, будут швырять тебе в спину гнилые фрукты. А ты будешь втайне лелеять месть. Я таких знаю. Ты гредишь о беспощадном насилии, о мирах, выстроенных из слов. А этого люди боятся сильнее всего, ибо слова не уничтожить, едва они записаны.

Меня тревожили эти легкие переходы между красноречием и неведомым образом жизни. Он сшивал их, как два лоскута, и, орудуя портновским мелком и булавками, создавал невидимый шов. Таким же мне представлялось его тело: мужские и женские элементы, слитые в дерзком противоречии.

– В жизни я повидал такое, что тебе и не снилось, – продолжал он. – Одно время я путешествовал с бродячим цирком, потом за аргентинской армией прошел всю дорогу до Парагвая вдоль реки Куяба. Чего мне

72

хотелось от жизни? Знать, что я сопричастен времени. И чем теснее я соприкасался с реальностью, тем больше убеждался, что люди готовы платить, чтобы от нее уйти. Я уже знал про дурманящее снадобье из пейотля, порождающее галлюцинации, и про опиум, которым торгуют французские моряки на побережье. Всегда найдется способ заработать на жизнь, дав людям такое, чтобы они вернулись за добавкой. Этому учишься на берегу.

Мне хотелось бежать, но мои ноги словно окаменели. Я попятился и сел на стул, пытаюсь вообразить картины, что возникали у него в голове, когда он проживал их вновь.

– Я изъездил весь континент, – продолжал он тем временем. – Был в самом сердце страны, добирался до низин Амазонки. Там небо отрезано стеной леса. И ночи. Чернота до того густа, что жмешься к костру. Местные или индейцы всегда наблюдают, просачиваются сквозь подлесок, точно змеи. Никто не надеется выйти живым.

Я ощущал, как все это оживает у него пред глазами: огромное, помятое после длительного хранения, текучее, влажное в первозданных красках подсознания.

– Ты и не догадывался, – говорил он, – как пристально я за тобой наблюдаю. Все, что знаю о жизни, я сосредоточил в глазах, которые исследуют, сколько от меня самого найдется в другом. Выяснив это, я знаю, сколько пустого пространства необходимо заполнить. Дама Червей занимается тем, что определяет уровни бытия. Но до тебя непросто было добраться, потому что ты весь в себе.

Я раздумывал, долго ли еще следует здесь пробывать. Этот человек меня выследил, и мне представлялся олень – он чувствует бремя чьего-то взгляда, пытается его стряхнуть, как муху, но взгляд липнет к нему, выжигая на нем мишень.

73

– Когда твоя мать утонула, – сказал он, – я понял: в тебе что-то сломалось. По пути с пляжа ты прошел так близко – я думал, ты меня видел. Но затем догадался, что ты не видишь ничего. Ты обезумел. Я знал, что ты винишь отца. Они поссорились, твои родители. Я видел, как их перепалка переросла в драку. Дама Червей всегда заполняет пустоты. Теперь ты узнал кое-что новое о папе с мамой. Я мог бы тебе показать скрытую сторону любого. В каждом из нас дремлет чудовище: один глаз открыт, второй бдит. Я – воплощение зла, которое ты хотел бы в себе уничтожить. Если бы я убил тебя этим ножом, вышло бы не убийство, а самоубийство. Только закон видит все в ином свете. Требуется наказать одно существо за ритуальное самоубийство другого.

Во мне росло напряжение. Воспоминания одолевали меня: бесконечно долгие мамины отлучки к друзьям, неприязненное молчание отца в ее отсутствие, его холодная отчужденность, которую я всегда объяснял излишним усердием в карьере. Он никогда не смотрел мне в глаза: демонстративно отворачивался, чтобы не встретиться со мной взглядом. Прошлое накрыло меня волной.

– И теперь, когда я устроил тебе эту встречу с самим собой, ты молчишь, – продолжал он. – Ты мог бы переиначить положение, только вот мое свидание с собой давным-давно состоялось. Я работал в пампах. И вот как-то раз мне надо было заарканить одного маленького вороного жеребца – я давно приметил его непокорство. Я подобрался к нему на пастбище, и хотя он сопротивлялся, мне все-таки удалось его оседлать. Я исхлестал его в кровь, разодрал ему правый бок. То ли жара подействовала, то ли просто устала рука, но я больше не мог поднять кнут; конь обернулся, уставился на то, что считал мною, и я узнал самого себя в его взгляде. Наша бешеная вражда завершилась этим обменом личностями.

Рука его подрагивала, когда он наливал себе текилы. Он глотнул, и у него перехватило дыхание. С крыши напротив пустили очередную петарду, она распустилась соцветием синих огней. Пьянящее возбуждение, которое привело меня сюда вопреки опасности, сходило на нет. Я падал вслед за ослепительной вспышкой, что выдернула меня из моей жизни.

– Сегодня будут жертвы, – продолжал он. – Ножевые ранения, обожженные руки, кто-то не выдержит велений наркотиков – я отметил их всех. Вчера и сегодня я бродил по улицам, и мой взгляд выделял тех, кто умрет. Случившееся со мной сегодня – результат полицейского вмешательства. Жандарм, что решился взглянуть на меня, будет смотреть и смотреть, пока не обезумеет, как зверь, глядящий на огонь.

Он умолк. Подпер голову руками, поддерживая ее в усталости, уже сквозившей в сдержанных жестах. Облегающий наряд подчеркивал все изгибы его тела. У него была тонкая мальчишеская талия и широченные мускулистые плечи и грудь – и притом худые ноги и изящные длинные пальцы. С каждым глотком текилы он взлетал все выше по спирали синего спиртового пламени. Я видел, как за этой завесой огня напряженно работает мысль. Он словно хотел чистейшим чувством пробить дыру на задворках сознания. Очертания его полового органа рельефно проступали под обтягивающим трико. Большой, длинный и возбужденный, формой он походил на кактус со сферическими корнями у основания. Его поза явно манила, побуждала к сексуальному сближению. Я не двигался, обдумывая план побега – сгорбленный суматошный рывок по проулкам в надежде укрыться в процессии.

Я собирался с духом для решительного броска прочь, во взвихренный поток карнавала. Я был точно рыба, пойманная на крючок за губу, и лишь сорвавшись и бежав с кровавой раной, я смогу убедить себя

в том, что все это случилось на самом деле. Карнавал сломал барьеры между существами; великий общий анимистический дух затопил все, как разлившаяся река. Все, что когда-либо существовало в процессе дурного становления, весь взрывной первобытный мир вымерших чудищ, и монстры, которым еще предстоит воплотиться на пробу в реальность, прорвались сквозь бумажные стены моего черепа. Жизнь перетекала в смерть, свою противоположность и дополнение, увлекая за собой тех, кого предназначила для кровавого жертвоприношения, и тех, кому не хватает психической силы противостоять мощи потока.

Я знал, что этому человеку нужна моя кровь, дабы умиловать темных богов. Альма рассказывала мне истории о магическом преображении, когда колдун обращается в зверя – волка или собаку и пьет кровь своих недругов. В экстатическом трансе он выходит из тела и мчит по небу на восьминогом коне. Под угрозой гибели я пытался вообразить свою смерть, путь вспять в созидающее сознание, к источнику грез, погружение в бытие, где больше нет действий. Невозможно попасть туда лишь потому, что тебе ножом перережут артерию. Мне представлялось, что путь в это царство откроют только геройские битвы, суровые испытания, которые нужно преодолеть, дабы смерть стала реальностью.

Я чувствовал, как напитывается электричеством кровь, как ток гудит в нервах. Куртка моего собеседника была испятнана текилой, пролитой из горлышка.

– Ты никогда не забудешь Даму Червей, – завизжал он, и пронзительный крик захлебнулся в запрокинутой бутылке. – С моей помощью ты мог бы стать кем-то в этом богом забытом мире воровства...

Его рука опустилась на возбужденный орган, он откинулся на груду подушек, вытянул ноги и выгнул спину. Я ощущал, как он погружается в фантазии, как между мною и им натянулась дрожащая пленка, как

сам я оборачиваюсь смазанным силуэтом. Я видел себя ночной бабочкой с крыльями в черных, белых и красных разводах – голова склонена чуть набок, удаляющийся образ, зависший у него перед глазами: крылья расправлены, из опущенных уголков черного рта торчат жесткие усики. Странно было думать, что я сижу неподвижно, а кто-то видит меня фрагментарно и зыбко – я качаюсь из стороны в сторону, как вода в стакане.

Когда я встал, он и не попытался воспротивиться моему намерению. Меня отнесло далеко от его орбиты, и его рука монотонно трудилась над членом. Он был как человек, что, запнувшись посреди фразы, позабыл смысл и причину своих слов. Я вдруг стал ненужным и анонимным, эпизодическим дополнением к его похоти, направленной на себя. Я попятился, сделал шаг к двери, потом еще, проверяя степень своей свободы в этой предполагаемой ловушке: в любое мгновение он мог окликнуть меня, своими велениями парализовать мою волю.

Третий шаг и четвертый; я как будто лишь теперь учился ходить – тело просыпалось от гипнотической дремы. Я ощущал, как мои ступни касаются половиц, подобно чувствительным пальцам пианиста.

Пятый шаг и шестой. Дверь позади меня. Достаточно было лишь толкнуть ее, дабы ощутить наплыв дымного воздуха. В мыслях я уже стоял под белеными прямыми стенами отцовского дома, нащупывая незапертый замок в окне библиотеки, – дом спит, ни света, ни звука, лишь гулкий прибой в бухте.

Лицо под маской покрылось холодным потом. Его нож лежал справа, на самом пределе его досягаемости, блестящий клинок гармонировал с атмосферой комнаты – смертоносная бесполезная вещь, которую он не успеет воткнуть мне под ребра. Седьмой шаг, восьмой. В мыслях я переворачивал мир с ног на голову.

Его дыхание стало хриплым; я слышал, как оно ускоряется предвестием оргазма. Под потолком раздраженно метался комар, пикировал на лампу, внимательно кружил, натываясь на препятствия и заходясь тонким писком.

Раздумывая о победе, я стал реальностью собственной мысли. Выбираясь из комнаты, я сознавал лишь окончательное решение пойти на риск и действовать. Лестница, по которой я поднимался, казалась иной: теперь она стала преградой моему поспешному бегству, крутой спиралью в колодце, что уходит в ущелье. Я мчался вниз, ударяясь о стену на каждом повороте, отбивая себе ребра; последние четыре ступеньки я преодолел одним прыжком, вывалился наружу и вонзился в толпу, движения которой пронизывал пульс эротической пляски. Моя костлявая угловатость, мой отчаянный побег диссонировали с общим ритмом; в слепом своем ужасе я был слишком заметен.

На головокружительной скорости я продрался сквозь толчею разукрашенных клоунов – круглые красные носы, парики из соломы, огромные рты до подбородков, синие атласные банты размером с шарфы на широких воротниках. Город, который я так хорошо знал, словно разросся и превратился в лабиринт. Какой-то пьяный метнулся мне наперез, его невнятный баритон осыпал меня проклятиями, его ругань неслась мне вслед, пока я не свернул в узенький переулок. На каждом повороте я ожидал узреть его – усыпанная блестками маска вынудит меня замереть. Я слышал море, набухающий шелест атлантического прибоя, знакомую музыку, которую я давно связывал с током собственной крови. Безмятежные волны разбивались о берег, перекачиваясь по отмелям, как игривый белый тигренок. Я знал, что стоит мне войти в этот размеренный сбивчивый ритм, и я буду спасен. Пространство с его безупречными синими гранями стало окном в бесконечность.

Стоит мне подумать о том, где мне хочется оказаться, и я сразу туда попаду. Я вспомнил бесконечные рассказы мсье Фламариона о наполеоновской армии, обстреливающей вражеские позиции, аксельбантах, синих мундирах, закопченных дымом в степи, небе в зарницах, громовом грохоте пушек – мне представлялось, что я дезертирую с поля боя, убегаю от кавалерии в красных мундирах, сметающей поредевшие ряды артиллеристов. Над портом трещали фейерверки. С каждым взрывом мне чудилось, что черное небо сейчас рухнет, как витрина в лавке. Я не решался оглядываться, опасаясь погони. Я бежал, пока не упал в высокую прохладную траву. Воздух сверкал искорками светлячков; они металась, потрескивая, словно крошечные электрические разряды. Лягушки и жабы затаили нестройную хриплую песню в ответ на размеренный стрекот цикад. Земля тянула меня к себе, держала меня, и руки мои были корнями кувшинки.

Я снял промокшую рваную маску, что вобрала в себя всю силу моего неистовства, и смял ее кулаком. Город в ночном сиянии остался позади. На востоке уже брезжило обещание зари – зеленый, пульсирующий остров света растекался по черному океану неба.

Я знал: чтобы освободиться от Дамы Червей и его одержимости моей жизнью, я должен уехать из Монтевидео. Я представил, как он лежит, мертвецки пьяный, на стеганом покрывале, полупустая бутылка скатилась на пол и подтекает. Его дыхание тяжело рвется сквозь узкие прорезы маски. Он проснется в полдень, и свет до синяков исколошматит ему голову. Жирные румяна потекут, будто свечной воск по бокам подсвечника.

Когда я вернулся, в доме было тихо. Где-то петух прокукарекал водянистому горизонту. Я слышал, как волны в пещере уносят свои бальные платья в бухту. Я упал на кровать лицом в подушку; я слишком устал

и не мог заснуть. В полусне отец представлял черным сфинксом, его львиное тело свернулось клубком на диване. Дама Червей наблюдал за ним через окно, ничуть не удивляясь отцовской метаморфозе. Едва Дама Червей прижался лицом к стеклу, отец облизал руки и по-кошачьи насторожился. Начинался прилив. Я уснул.

Соглядатай: Пять

Моя работа столь тяжела, ибо сын ваш вовсе не выдает своих побуждений. Он производит впечатление лентяя, но, скорее всего, знает больше, чем многие взрослые. Его будто бы не интересует собственное будущее, хотя подобное безразличие наводит на мысли о тайной стратегии.

Порой мне чудится, что это он наблюдает за мной, а не я за ним. Единственная несообразность в его жизни – таинственность.

Мне почти нечего вам сообщить. Мне удалось поговорить с приятелем вашего сына Полем Лафоном. Под предлогом беседы о постановке «Царя Эдипа» Софокла любительской труппой, с которой ваш сын водит знакомство, я сумел расспросить Лафона об Изидоре Дюкассе, представившись другом директора театра.

Похоже, вашего сына не любят за его отчужденность. Лафон холодно отмечал, что ваш сын не желает ни с кем сближаться, и упомянул о его склонности к мелкой жестокости. Со своими немногочисленными знакомыми Изидор Дюкасс обращается с отталкивающей черствостью; одному он сказал, что тот утонет, а пока будет тонуть, ему вспомнится все, что он сделал плохого, включая мастурбацию, а другому – что он поедет кататься в луга, провалится в болото и, парализованный, погибнет вместе с конем.

Подобные выдумки наводят на мысль об опасных фантазиях, каковые следует решительно пресекать.

Глава 5

82 Мсье Фламарион сидел у окна и смотрел на лазурный залив в белой пене прибоя. Слушая отца, он отвел от него взгляд, дабы подчеркнуть свою важность и продемонстрировать мне, что не всецело одобряет сказанное. Темно-синий сюртук с узкими рукавами доходил до колен клетчатых брюк цвета шпаклевки, коричневых с оранжевым. Мсье Фламарион вертел в руках книжицу в красном сафьяновом переплете марокканской работы, был смутен, водянист, однако не упускал ни единого отцовского слова.

Отец стоял за своим письменным столом орехового дерева – серый саржевый мундир с подкладными плечами, черный шелковый бант на шее сочетался с орденской лентой, наискось перечеркнувшей двубортный жилет. Он был нелепо напыщен, его круглый живот выпирал, как грудка у птицы, которая, распушив перья, отпугивает врага. Было видно, что он отрепетировал каждую фразу, обдумал свой ход и уже старался отделить себя от значения собственных слов.

– Дюкасс, – начал он, – мы обдумали все очень тщательно и решили отправить тебя в Тарб, надеясь, что образование тебя исправит. Из самых разных источников до меня дошли сведения о твоём безделье, твоих сомнительных городских знакомствах. К тому же, ходят слухи о вспышке холеры в городе. К середине лета мертвые будут лежать прямо на улицах. Я сам собираюсь в Буэнос-Айрес, а при

необходимости – и в Чили... Ты поступишь в лицей, и там тебе надлежит получить образование, необходимое в дальнейшей жизни.

Я перестал слушать, и голос отца зазвучал тише. Отец изображал медленный жвачный зевок коровы, разомлевшей в полуденной жаре. Мне представлялось, как взбешенные пчелы забиваются ему в горло и вонзают жгучие жала в чувствительные мягкие ткани.

– Также мне стало известно, что ты водишь знакомство с людьми явно не нашего круга, а это тебя отнюдь не красит. Твои вольности следует строго наказывать, иначе они разовьются в...

Я то погружался в его монолог, то уносился прочь. Отец напоминал желчного старика, страдающего подагрой и предрасположенного к апоплексии. Его песочные усы подернулись стальным налетом и топорщились наподобие жесткой бобровой муфты, скрывая верхнюю губу. Теперь он говорил исключительно для себя, и в его тоне я уловил отголоски жестоких слов, которые слышала моя мать. Мне хотелось пересказать ему то, что поведал мне Дама Червей. Эти сведения тем страшнее, раз я получил их со стороны, ибо их преувеличения согласуются с намерениями, которые у отца были и которые ему не удалось осуществить. Я различал в нем труса – человека, который бил ее, не сжав кулаки. Его поступки были запечатлены на стенах всеми цветами радуги. В песчаном вихре его нарастающей ярости, загнипнотизированная, мама ждала удара.

– Приготовься отбыть в течение месяца, – сказал отец. Его щеки налились краской – она просочилась в лицо, точно портвейн. Лиловая лоза вены проступила на лбу.

Если бы я набросился на него, боднул головой в надутый живот, он бы упал и барахтался на ковре, призывая все кары на голову им же оскорбленного сына. Мсье Фламарион оставался в той же позе,

сосредоточенный, как натурщик. Он сложил руки и сидел, отчасти внимательный, отчасти отвлекаясь на переливчатый блеск залива в окне. Свет бился в стекло в радужной агонии рыбы, которую вытаскивали из воды. У мсье Фламариона слезились глаза; он морщился в характерной своей роли человека, желающего остаться нейтральным.

84

Я видел, как у отца еле заметно подрагивает колено, как это напряжение тотчас отдается в зыби нерва в левой щеке. Он умолк, словно отменяя всякую мысль о малейшем расстройстве. Он был как человек, пойманный в неподвижном луче прожектора. Его возмущение было так велико, что он отвернулся к стене. Я прислушался, ожидая взрыва, но отец лишь резко глотнул воздух, словно ему дали под дых.

Когда он опять повернулся ко мне, лицо его было как бледная полная луна.

– Иди к себе в комнату и никуда не выходи, – приглушенно велел он властным тоном человека, обеспокоенного потрясением, случившимся в его теле. Я ждал, что сейчас он рухнет, как дерево. Но он будто держался внутри за то, что не давало ему упасть. Перекладина, выступ в скале, ветка, протянувшаяся над каньоном. Он, должно быть, предчувствовал новый приступ, прилив крови, что затмит сознание.

Я тихо прикрыл дверь и поднялся к себе. Маятник наших огромных имперских напольных часов красного дерева, расписанных морскими мотивами, отсчитывал секунды с неумолимой окончательностью времени, которое переживет нас всех. Я уже сел к столу, чтобы записать свои наблюдения, заполнить страницы тетрадей своими мыслями и мыслями тех, кто так или иначе пересекался с плоскостью моего поэтического видения. Мне нравилось представлять себя лордом Байроном с изуродованной ступней, в Ньюстедском аббатстве: отвергнут всеми, покидает Англию в глубоком негодовании; я уже строил

планы, как отомщу этому миру, и месть моя будет жестока, точно хлыст. На моих нервах отпечаталась запись вселенского катаклизма. Мне представлялась черная корона вокруг алого солнца, белые города, осыпающиеся в океан, и люди, что бегут в пустыни мира под метеоритным дождем. Львы на улицах, глаза рассыпаны по брусчатке, письма проступают в пыли. На дюне в Сахаре ветром начертано Имя.

Я лежал на кровати и раздумывал над продолжением отрывка, который записал ночью.

85

Он пробует зарыться поглубже в землю, но эта страусиная уловка не спасет его от совести. В один миг, как капля летучего спирта, испарится его земляное убежище, в нору ворвется свет, падут, как стая куликов на заросли лаванды, острые стрелы лучей, и бледный человек окажется лицом к лицу с самим собой. Однажды на моих глазах такой несчастный помчался к морю, вскарабкался на утес, исхлестанный григастыми волнами, и бросился вниз головой в бездну. Наутро тело всплыло, и волны прибили его к берегу. И вдруг – о чудо! – вчерашний утопленник воспрял, оставив отпечаток на песке; отжал промокшие волосы и, мрачно потупившись, пошел своей дорогой.

Мои фантазии были неисчерпаемы. Меня увлекали не унаследованные миры и монотонные дубликаты реальности, но миры, порожденные воображением. А за пределами воображения? Европа была минотавром, которого мне предстояло усмирить. Вонючая, рогатая бычья голова попытается забодать меня насмерть, не успею я воззвать к сходству наших тел. Кенотафы стоят над пустыми могилами его мертвецов, его провисшее брюхо – свалка костей для тех, кто заблудился; подземный мир поглотил странника, наркомана, человека, что потянулся в темноту, дабы найти себе подобных. Я представлял себе Даму Червей, как он

ждет на входе в тоннель и плетет ленты для волос из алой нити, которую не решится употребить для путешествия внутрь. На миг я задумался, не учинить ли скандал к вящей ярости батюшки: сбежать к Даме Червей и жить с ним? Влечение мужчины к мужчине уже зародилось во мне. Однако мне надо было прояснить свой теоретический страх; мир меня к этому не подготовил. Восторг, возбуждение, любопытство, иная ориентация моих побуждений – я окажусь в тесной, но насыщенной среде.

Я открыл окно запаху жасмина. Я думал о жертвах холеры и о знакомом французе, который был в карантине на борту парохода, бросившего якорь неподалеку от Сальто у Восточного берега Уругвая. Француз был натуралистом и читал книгу в зеленом кожаном переплете с золотым пауком, вытесненным на обложке. Он рассказывал об опустошенных селениях внутри страны, о мертвых, которых не похоронили, и тела их потрошили стервятники; о домашней скотине, взбесившейся от запаха крови.

Снаружи кожистые листья пальм шелестели на ветру. Я вытянулся на постели, раздумывая о том, что брошу здесь, и воображая пока что неопределенную территорию, которую мне предстояло исследовать. Европа все еще расплывалась облаком по краям – смутная, текучая, невнятная, континент из исторических реминисценций мсье Фламариона.

Мне вспомнилось, как в прошлом году я поехал кататься в ужасную жару, и моя лошадь почти инстинктивно продралась сквозь плотные заросли папоротника и бамбука и вышла к ручью. Огромное дерево в окружении гигантских аронников бросало тень на воду, белые раструбы цветов клонились к воде; и когда лошадь нагнулась попить, меня словно подвели к зеркалу, где впервые отразилось творение. Я подумал, что и слово творит мир на тот же манер, проецируя геометрическую инфраструктуру на воду.

Я отъехал далеко от дороги, и лишь неровная тряска лошадиной поступи не давала мне заснуть прямо в седле. Явь смешалась со сном, я завис в жаркой дымке. Очнувшись, я мог припомнить только запредельный покой ручья. Все остальное смазлось, обернулось зыбким и нереальным. Тело мое сочилось надвигающейся лихорадкой.

Я ехал дальше в легком сомнамбулическом ритме, пока меня не вывел из ступора всепоглощающий запах гниения. Я едва не уткнулся носом в разлагающийся труп повешенного: в обесцвеченном пятнистом теле копошились черви, обмякшая плоть цвета колбасы была облеплена паразитами. Я оказался лицом к лицу с остролицым мертвецом, и лицо его было словно подушечка для булавок, истыканная мухами. Лошадь взвилась на дыбы, сбросив меня в папоротники. Я встал, продрался сквозь сплетение кустарников, подняв цветистую метель пурпурных и желтых бабочек, и вновь догнал лошадь, перед этим повстречавшись с огромной, похожей на лепешку, жабой. Меня тошнило, но я все же выбралил себя за то, что не вернулся и не обшарил карманы полусгнившей куртки повешенного. Золотоискатель, шпион, дезертир? Из мрачного любопытства мне бы хотелось узнать, кто он был. Вскоре он превратится в выбеленный скелет на короткой пеньковой веревке.

Безглазое лицо, похожее на кусок протухшей ветчины, вновь наплыло на меня – изуверски растерзанное, как у висельника из бодлеровского «Путешествия на остров Цитеру». Я прочел это стихотворение в замечательно изданных «Цветях зла», которые позаимствовал у одного человека, бывшего в Монтевидео проездом. Из предосторожности я хранил книжку в запертом сундуке со своими бумагами. Мсье Фламарион рассказывал про скандал, разразившийся вокруг книги; ее автора обвиняли в непристойности. Что-то во мне разбухало, как червь на гниющем

труп. Мне хотелось увидеть разлагающиеся туши слонов, опустевшие города, где чернеют под солнцем брошенные мертвецы.

Я то погружался в беспамятство, то вновь возвращался в сознание, прислушивался, не идет ли Альма, ждал ее стука и ее тусклоокого обольщения в надежде, что она застанет меня в возбуждении, уже готовым – я был уверен, что на сей раз у меня получится удержать под контролем неукротимый сексуальный поток. Опыт захватил пространства моих фантазий, вдребезги разбил зеркало, в котором я предугадывал постепенное приближение стольких соблазнов, и это случилось так быстро, что меня окатывало возбуждение, а нервы иступленно натянулись. Кожа потрескивала, напитанная электричеством. Море за окном было как синяя блузка, смявшаяся на ветру. Мне представлялись флотилии цветов, прибывающие с островов, одинокий черный лебедь на тихих волнах обратился в богиню с эбеновой кожей – она вышла на берег и направилась к нетронутым белым пещерам, где еще не ступала нога человека. Любовь, и смерть, и красные пуансеттии.

Воздух сделал кожу чувствительной, он ласкал ее, словно трепетный рой нежных бабочек, избравших мое тело для отдохновения. Их лапки и усики щекали меня наподобие крошечных щеточек, оставляя на коже следы золотой пыли. Я слышал, как кто-то дышит за дверью; ритм, который испарял кровь и заряжал меня пульсирующим желанием. Жар земного ядра поселился в крови, разрастаясь. Надлежало обуздать это буйство, оторвать от вселенского соития и направить на конкретный объект вождения. В своем жару я хотел, чтобы меня затанули в тугий черный шелк и прокатали по контрастно прохладной поверхности, пока жар не покинет тело сдавленными, яростными толчками, цепочкой жемчужин-семян, образующих расплавленный символ, раскаленное охлаждение.

В предвкушении перед глазами клубились грозные тучи. Бурные облака на ветру из пампасов, что срывал крыши с домов, – они кружились у меня в крови. Я был весь в себе и для себя: колесо, которому не хватает замкнутой окружности, грозит вырваться из предписанного круга в новое измерение. Перед глазами мелькали лица, размытые и нечеткие, взаимозаменяемые фетиши; капризно надутые алые губы обернулись бутонем фуксии и красным кружком обвели головку моего естества. Галлюцинации обрели плотность – карнавальные лица проплывали по комнате, оргиастические церемонии искрились в глазах. Я лежал, блаженствуя в ожидании розой расцветшего тела Альмы.

Когда она постучала, обернув руку платком, я остался лежать, предвкушая, как она удивится, увидев мои закрытые глаза, мое безудержное возбуждение, мою частичную наготу, движение руки, что привлекало взгляд к моей эрекции. Я сознавал лишь поток образов, эротических автоматов, что высвечивались в мозгу и кружились в неосязаемом вихре синих колибри.

Запах карнавала еще оставался у меня на коже – едкий ожог селитры, кислый душок пота и дыма, – а равно и визуальные стимулы: пары, совокупляющиеся в траве и в переулках, эротическая горячка Дамы Червей, что лежал на кровати, загоня себя в мир фантазий, где теперь оказался я. Я познаю Европу как неистовый чувственный сон. Мои сексуальные связи, испытанные в воодушевленном трансе, не выживут, не смогут меня упрекнуть. В отрезвляющем свете дня, сидя за столом или за пианино, я смогу отмежеваться от фантастической геометрии своего пола. Мужчины, женщины – какая разница? Мои партнеры станут терзаться угрызениями совести – ослепительной мигренью, что приходит с заливающим комнату белым утренним светом. Я же проснусь и хладнокровно

перенесу на бумагу свой опыт, объективно, как и пристало стороннему наблюдателю. Меня будут преследовать в подземном мире, в лабиринте ходов и тоннелей под городом.

90 Жар расплывался по телу, от мошонки и вверх по хребту. Я не открыл глаза, когда дверь тихонько закрылась и кто-то шагнул в комнату. Я напрягся: ждал, когда ее теплое тело отыщет меня и четкие контуры лягут поверх моих тонко выписанных краев. Я знал, что она взгромоздится на меня, а потом соскользнет вниз, и меня закачает, как ялик, куда садятся пассажиры. Но слияние случилось без прелюдий и касаний. Меня затянуло в шелковый овал, влажный язык облизал вену, обежал вокруг головки, затягивая меня глубже. Трение обожгло меня, будто горячие и холодные снежинки поочередно искрились на коже и щекотали назойливо, как перышко щекочет пятку. Во мне собирался циклон, кружилась голова, неукротимое ощущение поднималось из глубин, сходясь в фокус, напор медленно рос, восходящая спираль обжигающей чувственности пробивалась наружу, как подземный источник к единственной расщелине в камне. Я безотчетно протянул руки, нащупывая плечи, мягкий изгиб спины, но запрокинутая голова ускользала, непреклонная в своем ритмическом рисунке. Теплая зыбь обернулась цунами с пенным гребнем, волна устремилась к берегу, нарастая, и я отдался на волю прибоя. Когда началось семяизвержение, мне показалось, что я напрямую соединился с солнцем. Я взлетел к расправленному ядру, отчасти сжимаясь от этой мощи, отчасти ликуя, захваченный и воздетый неодолимой силой.

Я не хотел открывать глаза. Меня смущало, что наслаждение досталось мне одному, и в безмятежности, затопившей меня, я увидел зеленые травы безбрежных пампасов на ветру и коней, белых коней вдали. Я лежал, согретый, на время избавленный от злобы

на мир, от яда, что мне хотелось бы влить в вены отцу. Когда я открыл глаза, в комнате не было никого. Что-то кольнуло мне ногу. Я приподнялся и увидел на постели усыпанную блестками маску. Она взирала на меня с презрительным высокомерием, как в той комнатухе карнавальная ночь. Этот пристальный взгляд я уже не мог отделить от лица, увиденного лишь раз и мельком, – лица, лишено маски, под нещадными ударами вооруженных жандармов. Женщина, или мужчина, или нечто среднее – ребенок с ушами фавна и похотливым ртом?

91 Снизу вновь послышались голоса: они перекрывали друг друга, спорили, потом вроде бы пришли к согласию. Я ждал, когда грянет паника; ждал, когда ужаснусь тому, что сотворил. Но ничего не произошло. Я снял маску и увидел самоуверенный холод в своих неподвижных стальных глазах. Как будто ничего не изменилось; над морем по-прежнему собирались тучи, ветер гнал рыбацкую лодку в порт. Вселенской катастрофы, которой я ждал, не случилось. Я не был отмечен ни шрамом, ни знаком – алой печатью Каина, по которой меня можно будет узнать. Беспокоило же меня, с какой ловкостью Дама Червей проник ко мне и ушел. Быть может, он еще прятался в доме, и я не должен выказывать страха, дабы не возбудить подозрений. Я помнил его нож, его бесстрастный взгляд, который высасывал мою жизнь, прочитывал меня до дна, будто он ухитрялся смотреть моими глазами на себя, сидящего на постели. Зазвучи его голос у меня в голове, я оказался бы полностью беззащитным. Мне представилось, что он последует за мной в Тарб, а потом и в Париж. Я столкнусь с ним на лестнице у своей квартиры или где-нибудь в темном проулке у глухой стены. Он будет гнаться за мной по всему свету. В деревушках спящие кинутся к окнам, разбуженные моим яростным приближением. И я всегда буду устремляться в никуда, по дороге в открытое будущее.

Мне вдруг стало холодно. Я ждал, когда восстановится кровоток; я разогнулся, точно дерево, что распрямляется после упорной бури. Я оделся и вернулся к окну. Тучи сгрудились плотным комом индиго, и его буравил белый свет. Гроза обойдет нас стороной, уползет чуть дальше вглубь континента и обрушится вертикальными столбами дождя в эстуарии со стороны Рио. За кромкой туч плыл синий просвет, что потом прояснится в сияющую лазурь.

92

Сидя на плоту постели, забившись в себя, я знал, что в этой жизни я одинок. Даже уроки заброшены, и взамен усиленной учебы, коей я ожидал себе в наказание, я, кажется, так и останусь сидеть под замком, позабытый. Я решил написать прощальное слово стране, которую я никогда больше не увижу. Ее белой, прямолинейной архитектуре, ее космополитизму, ее дымящимся холерным водостоками, ее лазурным пляжами и вонючим скотобойням.

Был один мальчик – назову его, пожалуй, графом де Лотреамоном – который не желал оставлять следов за пределами вымысла. Все, что он думал, принадлежало ему, ибо он не дал ни одного опознавательного ключа, что удостоверял бы его мысли. Там, где он родился, был он лишен друзей и почти не общался с людьми. Себя он знал лучше всего по аквариумным пропорциям зеркала, в котором рассматривал свое лицо, являемое миру, дабы убедиться, что оно не выдает и намека на сокровенные раздумья.

Сперва было море и ритм неотвратимого прибоя. Сей ритм постепенно впитался в тело, отшлифовался в крови и поселился внутри, в солнечном сплетении. Хребет стал морским змеем, рожденным из лазурной бездны. В лихорадке различал он колокола на бакеках – они звякали, точно цепь сторожевого пса или куранты затонувшего города, гремевшие по отмелям его горячечных галлюцинаций. Он был словно остров,

и море напоминало околородные воды, в которых он жил до рождения. Крошечный живой лангуст в воде. Море диктовало его настроения, вызывало кататоническое спокойствие, бредовое неистовство его необузданных маний. Когда что-то его беспокоило, словно кидали камень в стекло безмятежных отмелей. Он нырял за преступным камнем, но постепенно камней накопилось так много, что они покрыли все дно, и каждый из них был по-своему тяжел, и их уже было никак не убрать. Отцовское лицо, мамино, лицо учителя – все они смотрели из-под толщи воды. По ночам он исследовал эти кобальтовые глубины, вооружившись ножом ныряльщика, но его гнали прочь прожорливые акулы. Погружения всегда означали побег от постылого мира, в яркую жизнь, раскрашенную в цвета колибри и попугаев. Там можно было распахнуть окна морского дворца и жить среди бирюзовых мозаик. Там он был один.

93

Граф де Лотреамон. Как красиво смотрелось имя, когда он впервые начертал его на белом песке в пещере! Он взял это имя из романа Эжена Сю, он обвел имя кружком, словно обозначая границы королевства, а потом ждал, когда прилив сотрет его тайну. Восторг и сопричастность захватили его при мысли о том, что он избрал псевдоним. Когда прибой коснулся букв, они сперва заблестели, будто подсвеченные, а потом волна зашелестела у ног и смыла надпись. Он помчался по пляжу, одурманенный будущностью своей двойственности. Ему виделось, как он станет совершать преступления против человечества. Будет смотреть, как кровь последнего человека на земле вытекает в бокал, а потом разобьет бокал вдребезги. Лишь тогда утолит он жажду одиночества.

Он вырос неспособным любить. Мама обещала, что со временем его чувства устремятся к кому-то, но стена льда отрезала его от мира и никак не таяла. Мать убедила его, что его чувство к ней и есть любовь,

но он знал: на самом деле это лишь альянс против дракона-отца.

Ему часто грезилась сила, которую дает ритуальная магия и посвящение в культ Черной Матери. Ему представлялось, что он одет в белую набедренную повязку и четверо учителей ведут его в тесную комнатку, где шестнадцать дней будет он практиковаться в духовном прозрении, познавая значение и смысл слияния мужского и женского. Он поедет в Париж учиться под покровительством Элифаса Леви. Ему вновь повезло: один французский ученый в одном отеле Монтевидео одолжил ему книгу Леви. Ему нравилось, что оккультист сменил имя после того, как его выгнали из семинарии. Это укрепило его решимость заставить мир врасплох своим анонимным прибытием.

Он будет работать тайно, под покровом ночи, и наблюдать, как алый рассвет занимается над городскими крышами. Никто не узнает о белых сотах у него внутри, об этой сложной решетке, лучезарной конструкции из внутреннего света. В воображении ему рисовалось, как старый бродяга взбирается к нему на чердак. Бродяга принесет свежий горячий хлеб, украденный у чьей-то двери, и они станут делиться ночными историями и пить вино. Они будут сидеть в заговорщицкой тишине, что предшествует зарождению дня, – двое в ожидании зари нового века. Ну и что, если его рукава все в вине и чернилах, все равно он – граф де Лотреамон, и титул дает ему право сознаться в вымышленной родословной. Повествуя о том, кем он не является, он найдет новые пути в глубь своей личности. Искусный манипулятор, его «я», множественное и изменчивое, переживая вымыслы, все равно вернется к истокам, прежде чем ложь на страницах воссоздаст его заново.

Другие узнают его как человека свободомыслящего, что бранит клики и классы, бунтаря во имя воображения, титулованного аристократа, которому

избранный круг сутенеров, нищих и проституток открыл тайны парижского дна. Он будет говорить о гонениях на тех, кто стремится познать психосексуальную природу.

Среди его слушателей будет священник-вероотступник, отлученный от церкви, истово посвятивший себя темным искусствам. Он все еще носит биретту с лиловым пером и густо сдабривает речь латинизмами; его тонкие, по-женски изящные руки трудятся, освобождая разум от докучливого раздражителя, некоей эротической фантазии, которую не укротить даже самым низменным утехам в проулках. Его руки трясутся – верный признак сифилиса, что армией движется по нервной системе.

Что станет с лиловыми рассветами и этими искушенными знатоками, когда они разбредутся по одиноким квартирам? Ему представлялось, как он сидит за пианино и декламирует свои строки, аккомпанируя собственным просопопеям нестройными созвучиями. Таков его способ обострить и разбередить чувства, пустой желудок горит огнем от красного вина. Иногда он будет писать на зеркале цветными мелками или ложиться на пол и грезить о жизни, которую оставил в Монтевидео. О жизни, которой жил Изидор Дюкасс, его родич – они теперь друг с другом не разговаривают. Ходили слухи, будто однажды Изидор повздорил с учителем из-за вечных своих опозданий на уроки и укусил наставника в запястье, оставив алые отметины зубов; и что как-то раз он застал отца, когда тот наряжал Альму в шелковое белье своей покойной жены, и ударил его хлыстом. А еще говорили, будто он торгует собой в американских отелях, бродит по колону в крови на городских скотобойнях, водит знакомства с сыновьями мясников, ворами, дезертирами, наркоторговцами, и ему *все равно*.

Дюкасс – предмет разногласий, не забытых по сей день, когда Лотреамон сидел, опустошенный, у себя

и колотил кулаком по клавишам пианино, выбивая безумные диссонансы.

96

Он припомнил один неприятный случай с мертвой коровой: как однажды осенью, в воскресенье, Дюкасс с соседом оседлали коней и поехали в городок Лас-Пьедрас навестить дона Виктора, охотника на ягуаров и пум, у кого весь дом был выстлан их экстравагантными шкурами, и он уже предчувствовал: что-то случится. Дон Виктор был пьян и настойчиво требовал стрелять по особенно ценной шкуре пумы, растянутой на стене. Не удовольствовавшись дырками от пуль, он разбил о свой экспонат бутылку виски. Изидору хотелось пришпилить к стене самого дона Виктора, и на мгновение сознание Изидора наполнилось слепым пятном, будто он выскочил из темной комнаты на яркий свет и на время ослеп. Помутнение прошло как раз в ту минуту, когда его позвали на двор, дабы ехать домой. Сосед явно не доверял расшалившемуся охотнику и счел, что безопаснее отбыть. Они поскакали пыльной дорогой, очень довольные, что удалось сбежать от маньяка-знакомого, но не проехали и десяти минут, как им в ноздри ударил запах гниющей плоти. Под дурманом лежаладохлая корова, сплошное месиво червей и личинок – распотрошенная стервятниками, черная от мух падаль. Соседа едва не стошнило от мерзкой вони, однако он в изумлении остановился, увидев, как Изидор спешился и принялся тыкать гниющий труп ногой, хлопая в ладоши и хрипло смеясь; грифы взмыли в сапфировые небеса, хлопая кожистыми крыльями. Он стоял, зачарованный этой энергией разложения – распадом плоти, ставшей пищей для паразитов и рассадником жирных блестящих мух. Не в силах проникнуть в сердцевину этой гнилостной смерти, он подобрал палку и принялся тыкать ею в рваные раны, оставленные стервятниками. Багряные и лиловые расщелины завораживали его, побуждая склониться

ниже, дабы рассмотреть отвратительные дыры, – так человек открывает красоту цвета в морской раковине. Лишь когда он услышал свист кнута за спиной и взбешенный крик соседа, грозившего надрать ему уши, если он сию же минуту не сядет в седло, Изидор очнулся и бросился прочь от гниющего труп, спекшегося на солнце. За весь остаток пути до Монтевидео всадники не обменялись ни словом – история была слишком тревожной, даже дон Виктор не решился бы поведать ее отцу Изидора.

97

И многое другое говорили об Изидоре Дюкассе. Он был ленив и играл в шары на пустыре у гавани. Он был одержим петушиными боями, и его часто видели в портовых кабаках, где он наблюдал, как две птицы дерутся в миниатюрном подобии римского амфитеатра.

И каковы были его достижения, этого кровного родственника и нахлебника графа де Лотреамона? Неуклюжий паразит Изидор вызывал у него лишь презрение. Лотреамон обозревал затененные эпизоды этой чужой жизни с клиническим бесстрашием, потребным для искусства. Он оставит лишь черты жизни, доступные преобразению в искусный вымысел. Всему остальному уготована неотвратимая ранняя смерть. Это будет самая главная его работа: исключить все личные обстоятельства, которые нельзя уподобить метафоре, а потом разложить эту метафору на фрагменты безличной мозаики. В этом ему поможет уверенность, что после самоубийства матери отец почти наверняка уничтожил все ее бумаги. А если принять во внимание его репутацию, сомнительно, чтобы его прошлое где-то записывалось. Ему еще нужно будет придумать воображаемую жизнь для отца. Таковы уж они, финалы: отрезают тебя от фактов и вынуждают творить тeneвую жизнь. Лотреамон переиначит баланс истории своим неверием в прошлое. Он не верил ни во что, кроме истины,

установленной непосредственностью метафоры. Все остальное не достойно доверия. Его жизнь была вся напоказ, точно капля дождя, и притом обладала слепящей чистотой восприятия, пронзительным блеском – никто, кроме него самого, не смог бы взглянуть на нее и не зажмуриться.

98

Лотреамон унаследует от Дюкасса решимость уничтожить рационализм и взорвать литературу, погрязшую в доктрине социального реализма. Он установит взаимосвязи: когда зонтик встречает швейную машинку, а красная луна – черное солнце, заходящее над пирамидой. Лотреамон откроет шлюзы подсознания, и в результате возникнут новые психологические состояния, поведенческие модели, которые обернутся революциями на внутреннем уровне, бросят вызов самой концепции человеческого самоопределения.

Годами он мечтал соединиться со своим двойником. Размышляя о прошлом, он понял, что всегда был кем-то другим, а вся энергия его сосредоточилась на сотворении некоей двойственной фигуры. И только тогда осознал он, что со временем будет вынужден покориться верховной силе, которую создал.

Прибой тяжело бился о плоский пляж. Все было захвачено неумолимым скольжением к переменам – молекулярный танец вселенной, столетия, исчезающие в вихрях, словно галька, что катится вниз и падает в пену отступающей волны. А в конце не останется ничего, кроме кучки черных камней на белом пляже под алым небом. Так ему представлялся конец вселенной. И Лотреамон станет свидетелем катастрофы. Последний человек на земле, он будет стоять на обожженном побережье и смотреть, как полотна огня обращаются в черно-изумрудное пламя на горизонте.

Побережье в его видениях не имело ничего общего с береговой линией Уругвая: то была апокалиптическая пустошь, которую он избрал для слияния с двойником. Он бежал, и за ним по пятам мчалось

голубоглазое каменное изваяние. Гнались каменные люди, ожидавшие повеления, чтобы ожить. Он задышался, ужасаясь при мысли о возвращении к однообразной стерильности дома. Все, что угрожало его жизни, теперь казалось безмерно далеким. Город словно отступил в умозрительность: теперь их разделяла бездна сознания. Вполне вероятно, что он никогда не вернется; ему нужны пространство и анонимность, чтобы произвести на свет Лотреамона. Где-то в европейской столице его ждала комната. Из окна этой комнаты он увидит, как имперский орел умрет на руках никудышного императора. Толпы на улицах будут точно красные муравьи, разбегающиеся по щелям. Рождение неизвестного героя всегда приводит к крушению цивилизации. Лотреамон должен быть силен духом, чтобы не сломаться под грузом пренебрежения, каковое постигнет его работы. Его гений явится миру, и тот встретит его враждебно, но Лотреамона это нисколько не заденет.

99

Волна вновь подступила, но на сей раз он и не пытался избежать ее пламенеющего разлива. Он дозволил ей покрыть его ботинки и побрел дальше по отмелям, не думая о промокшей одежде, впившись взглядом в неразличимую точку на горизонте. Именно здесь, в беспокойной стихии Атлантики, в океане его начала, он отпразднует слияние со своим двойником. Символическая смерть, за которой мгновенно последует возрождение. Он дошел до последней черты и привел того, другого, уберег от опасностей, напитал его скрытое честолюбие; он прилежно готовился к этой минуте, и сейчас ему оставалось лишь отказаться от своего имени и выпустить на свободу свой миф.

Он наблюдал за ласточкой, парившей над пляжем. Лотреамону пришло время воплотиться и жить.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Соглядатай: Шесть

100 ...я настаиваю. Не могу снабдить вас копиями писем, утерянных в море. Нерегулярный характер моих донесений из Тарба и более связанная череда писем из Парижа заставляют предположить, что мои донесения были перехвачены либо потеряны по небрежению людей, отвечающих за доставку. Я склоняюсь к первому.

До вас, конечно, дошли известия о предосудительных отношениях вашего сына с Полем Леспесом и Жоржем Менвелем. Я не могу пересказывать факты, пока не питаю уверенности, что мои письма до вас доходят. Что касается инцидента в лицее и властных замашек Дюкасса, меня удивляет, что Гюстав Энстен не сообщил вам об этом лично. Он наверняка писал вам конфиденциально о переменчивом и непредсказуемом поведении вашего сына?

Все сведения о жизни Дюкасса в Париже поступают ко мне от Марты Давид, проститутки, проживающей по адресу: улица Барбесс, дом 45. Она знает его под вымышленным именем, которое я сообщил вам в одном из предыдущих писем. Ее представления о нем в корне разнятся с моими. Он представляется ей молодым человеком, состоящим в некоем тайном братстве, решившем установить господство над миром. Трудно понять, подразумевает она политическую группировку – Париж всецело пропитан революционным духом – или эзотерический орден. Ее невразумительные рассказы и неизменная

уклончивость в отношении всего, что касается ее жизни, мало способствуют расследованию равно загадочной жизни вашего сына.

Я, впрочем, установил, что привычки вашего сына довольно предсказуемы. Его занятия в Париже мало чем отличаются от времяпрепровождения в Монтевидео. В основном он один, избегает заводить друзей, тщательно прячет свои бумаги, выходя из дома, и выказывает полное равнодушие к городским соблазнам. Все происшествия его жизни как будто случайны. Ваш сын совершил несколько экскурсий: к римскому амфитеатру на улице Монж, в термы Клюни и два раза – в Лувр к Венере Милосской, но выказывал безразличие, наводящие на мысль, что свое материальное окружение он презирает.

Похоже, его жизнь проходит в четырех стенах и по ночам. Он пишет, играет на пианино и изредка водит к себе мужчин того сорта, к которым его влекло в Монтевидео. Только его парижские знакомцы иные: скорее напоминают бродяг и полуночных призраков. Мне не удастся установить никаких связей Дюкасса с политическими движениями, и пока что его поведение не дает никаких оснований опасаться скандала, могущего грозить вашему положению.

Все книги, что он покупает, так или иначе связаны с естествознанием. Очевидно, его привлекают иллюстрации и гравюры, и он очень разборчив в выборе изданий.

Буду ждать ваших дальнейших инструкций, каровые послужат и подтверждением, что это письмо благополучно до вас дошло.

101

Глава 6

102

Дом двадцать три на улице Нотр-Дам де Виктуар. Адрес и комната, где можно писать. На горизонте – полная османизация Парижа: погрузив правительство в бездну долгов, над городом возвысились строительные леса. На рассвете мне слышно, как строители топают по мостовой, направляясь к месту своих трудов. Целыми днями громоподобно рушится кладка – квартал падает, как карточный домик. В морозные дни металлический звон молотков, старание киркомотыг плетью бьют мне по нервам. Над стройкой вздымаются клубы дыма, черным ивняком разрастаются в небе и уплывают через Бюссе.

Размеренного пульса прибоя – вот чего не хватает мне. Этих лазурных и малахитовых глубин, заключенных в волне, что поднимается, обретая цвет неба, а затем косо падает белизной.

В Париже я обрел уединение, на которое уповал. Днем я сплю, ночью работаю. Мои друзья – те, кто выходят на улицы в ночи, умиротворенные заговорицей тишиной, те, для кого темнота – как раковина, в которой гудит эхо их внутренних побуждений. Образование не дало мне ничего: все, чем я владею, все, что знаю, я приобрел через союз тишины и ясности видения.

Когда я приехал во Францию, сперва интерном императорского лицея в Тарбе, позже учеником школы в По, каждый нерв мой бунтовал против этого физического и ментального перемещения. Я замкнулся

в себе. Я изучал латинскую прозу и грамматику, наслаждаясь ими, подобно классицисту, но с намерением заняться изучением магических практик и познать точные дисциплины, дабы тренировать чувства и подготовить их к вселенскому беспорядку, который я однажды сотворю. Тарб оказался провинциально ограниченным и упирал на дисциплину, как и описывал мсье Фламарион. Унылый городок: монастырь, собор – его вялые колокола пропитывали тишину мертвящей, заостренной апатией; отмороженные пальцы, замогильный холод в дортуарах, изуверство учеников, запах лекарств в лазарете, бельевая, где пахло свежим хлебом. Локти на парте, подбородок в ладонях – я сидел, глядя в учебник, и не видел, что там написано. Я мечтал о свободе; о чистой лазури небес над банановой рощей, о зеленых пчелоедах, что гоняются за стрекозами, о ветре в высоких травах. Мне нужно было доказать свою состоятельность мальчику, которого я оставил в прошлом, – Изидору Дюкасу. Я даже взялся писать ему длинные письма и очень гордился, что мне удавалось скрывать свое «я» от двоих одноклассников, с которыми я завел – нет, не дружбу, скорее поверхностное знакомство. Поль Леспес и Жорж Менвьель. Как мало они обо мне знали. И сколь ничтожными кажутся они мне теперь – мальчишки, чье честолюбие не шло дальше мечтаний о мелкой должности.

103

Мы с ними ходили на увенчанный ивами пруд и летом купались. Плакучие ивы в глазурированном пруду были словно зеленые стога сена. В траве квакали жабы, на тополе трещала сорока. Мои слегка заторможенные приятели способны были разве что пародировать чудачества учителей и напускать на себя браваду зеленых юнцов, которые уже отведали свою первую провинциальную рыжую проститутку. Мы лежали в траве и курили: я хранил молчание, а они изливали явно преувеличенный репертуар непристойностей.

Я долго терпел их ослиное тупоумие – черепахи, млеющие на солнышке у кромки пруда, они вновь и вновь пытались обратиться в амфибий, привыкнуть к прохладной воде, но безуспешно. Мне хотелось шокировать их, встряхнуть, доказать им, что я не причастен их миру латинской зубрежки, од Горация, всех этих нудных миазмов, что зловонными ручьями стекают в отстойник какого-нибудь министерства.

104

Я выжидал. После затяжной, невыносимой скуки опустошительного мертвого летнего сезона в Тарбе мы встретились в теплый сентябрьский денек, когда листья каштанов уже начинали желтеть, а Леспес и Менвьель, надолго уезжавшие домой, вернулись в лицей. Менвьель хвастался, как затащил одну местную девочку на сеновал и как она, дабы усугубить удовольствие, игриво облизывала языком его возбужденный член, а затем, то сжимая, то отпуская головку, довела его до оргазма. Рассказывал он неуклюже – сразу было понятно, что он сочиняет, что его похоть осталась неудовлетворенной – фантазии, с которыми он постеснялся отправиться в бордель. Говорили они заговорщицки, стараясь исключить меня из разговора. Я почувствовал, как у меня стынет кровь, как будто меня столкнули в холодную воду. Ни намеком не выдав своих намерений, я кинулся на Менвьеля и повалил его в траву, а его друг, напуганный моей яростной вспышкой, попятился, не желая навлечь на себя мой гнев.

Я хотел доказать, что он лжет, хотел унизить его перед другом; правой рукой я расстегнул на нем брюки и все шипел ему в ухо: «Вот что тебе нравится, да?»; я чувствовал, как у меня в руке набухает его непреднамеренная эрекция, его непроизвольное возбуждение от нашей возни в траве, когда тело вжимается в тело, я держал его крепко, в его широко распахнутых глазах отражались страх и смятение, все его сопротивление уступило животному инстинкту, который был

сильнее стыда. Его товарищ стоял, пригвожденный к месту. Я мимолетно оглянулся: он побелел, хватал ртом воздух, как рыба, и все чувства его пытались отключиться от реальности происходившего у него на глазах.

– Вот что тебе нравится, да, Менвьель? – выкрикнул я, поднявшись; он так и остался лежать с вываленным членом. Я бросился прочь, на ходу заправляя рубашку и стряхивая грязь с черных брюк, оставив этих двоих решать, как отнестись к происшествию, которое им не удастся обратить в шутку.

105

Об этом случае больше не упоминалось. Я еще больше замкнулся в себе, погрузился в свое одиночество; мое высокомерие вызывало не презрение, но уважение. Меня считали неподатливым иностранцем, человеком, которому вряд ли интересны банальные устремления одноклассников. Меня оставили в покое, и мне пришлось компенсировать одиночество безудержными фантазиями. Мои видения были яркие, насыщенные, апокалиптические, но я всегда держал их под контролем, направляя вовне, прочь от безумия; я был деспотом, покоряя мир, созданный воображением. Если бы я политизировал свои взгляды, целые армии собрались бы во имя моих манифестов, войска маршировали бы, послушные ангелу откровения, и каждый солдат держал бы в руках мою книгу, над Европой сгущались бы черные тучи, плотные облака, сотрясаемые алым огнем.

Я был развит не по годам, не присоединялся к ортодоксальному большинству, и это привело к неизбежному противоборству с моим учителем Гюставом Энстеном. После того, как я несколько раз категорически отказался вымарывать фантазии из своих сочинений, он поставил меня перед классом и зачитал вслух оскорбительные фрагменты, дабы высмеять их публично. Он хотел превратить меня в выставочный экспонат в рыбной лавке, жесткохвостый и

красноротый натюрморт из рыбины, хранящейся подо льдом. Я же наслаждался своим позором; насмешки, призванные обратить меня в козла отпущения перед классом, внезапно сгустились вокруг учителя. Меня не трогали взгляды, вперявшиеся в меня. В своем сочинении я признавал вырождающуюся посредственность моего очернителя. До конца жизни он будет тешить себя иллюзией, что поэзия – холодный мрамор, окромсанный от глыбы классики; бескровный монумент, невосприимчивый к переливанию крови с улицы, к шоковой инъекции, взрывающей подсолнечие. Пока он зачитывал полеты моей фантазии, неодобрительно подчеркивая метафоры, я переживал духовный подъем, словно взирал в синий глаз будущего, невидимого для моих современников.

Когда Энстен дочитал, его лицо было белым от ярости. Я понял его безмолвное предостережение и вышел из класса. Удалялся я неспешно. Я смаковал непонимание в пустых лицах, что оборачивались мне вслед. Снаружи жужжали слепни. Я сплюнул и пошел к пруду с плакучими ивами.

Мои убеждения не изменились; они лишь крепились вместе с моим одиночеством. В большом городе ты либо живешь, как орел в гнезде высоко надо всем, либо поддаешься низкому равенству общей массы. Я обитаю на чердаке и поэтому знаю, что значит жить ближе к небу. Облака непрерывно меняются; огромные белые континенты превращаются в туманные горные хребты и внезапно уносятся прочь, обнажая лазурное ложе. Я живу ближе к тихому лексикону ночного дождя, стучащего по шиферу, к треску града и букету ветров, что треплют всякую вертикаль. Я проживаю эти перемены, они омывают или пятнают мои страницы.

Поначалу я сочинял поверхностные письма отцу, в которых не сообщал ничего о своем образе жизни из опасения прогневить его еще больше, но неизменно

закидывал удочку в его финансовый водоем. Мои просьбы о деньгах, как правило, оставались без ответа. Как все слабые люди, отец жил, не думая о других. Внешне он не был привлекателен, но это лишь поощряло его к супружеской неверности, ибо, не придавая значения собственной внешности, он не считал важной чужую красоту.

Письма мсье Фламариона были совершенно иного рода и взывали к единомышленнику, способному разделить его взгляды на текущую политику. Его беспокоило, что Республика набирает силу и грозит свергнуть с престола Наполеона III. Тон его писем ясно давал понять, что я мог бы рассчитывать на достойное вознаграждение, если стану шпионом и буду снабжать его партию информацией, потребной для ареста революционеров. Мсье Фламарион намекал, что, если посетит Париж, будет рад меня видеть, но в этих фразах мне виделся сексуальный подтекст. Была в них двусмысленность, не провозглашаемая открыто, но и не скрываема, – намек на любовную связь, о которой он давно грезил и которую надеялся воплотить.

Сперва я думал было поймать его на слове. Садист во мне с восторгом уничтожил бы его, разоблачив перед публикой, дабы его арестовали в грязном проулке вблизи реки.

Не в силах выпутаться из его замысловатой паутины, я скармливал ему незначительные подробности. Мои притворные симпатии были насквозь фальшивы. Меня мало волновало, что Шарль Флоке бросил в лицо царю «Да здравствует Польша!», а Наполеон страдает грыжей, гонореей и застоем крови в почках. Летом мне предстояло съездить домой, и я надеялся выпросить у мсье Фламариона денег, в которых категорически отказывал мне отец.

Мое краткое возвращение было ошибкой с самого начала. Громадные волны гнали нас через Атлантику, белые барашки мчались за ураганом, захлестывали

корму, разбивались о палубы, и судно взбиралось по волне почти вертикально, а затем падало вновь. Когда ветер унялся, против нас выступил туман. Мы плыли сквозь плотную белую пелену и все время боялись столкнуться с другим кораблем.

Один раз мы высадились на берег пополнить запасы воды, и на пляже обнаружили остовы трех разбитых судов. Два лежали на боку, растерзанные прибоем, а третье, плоскодонное, стояло вертикально на киле значительно дальше от моря. Весь пляж покрывала мозаика обломков и мусора на долгих отмелях, могильные холмы, нагроможденные опустошительной атакой волн. Пустые сигарные коробки, ящик с хирургическими инструментами, другой ящик, набитый искусственными конечностями, один сундук лопался от игрушек, кукол с клоунскими лицами и наклеенными черными или желтыми волосами, свалевшимися от соли, а рядом в прибое, застряв меж камней, колыхался утопленник – лицо обезображено, нет ни ушей, ни носа, острые ребра камней покрыли кожу набухшими рубцами.

Это место, похоже, избегло внимания мародеров. Чуть подалее я обнаружил разбитый ящик с шампанским, где еще оставалось несколько целых бутылок. Я вытащил пробку и едва не захлебнулся игристой шипучей пеной. Шампанское ударило в голову. Она словно отделилась от тела и воспарила к небу. На пенных отмелях обнаружили и другие тела в разной степени разложения. У одного не было головы, у другого вырвана грудная клетка и словно обрублены руки и ноги – видимо, отрезанные серпом акульей пасти. Внезапно я бросился в воду, коленями проламывая линию прибоя, замороженный зияющей красной дырой в боку тела, наколотого на подводный камень. Отмели кишели ослепительно яркой фауной, закрученной взвихренными завитками бредового красного, желтого и фиолетового.

Свет вспыхнул в голове, озарив мозг. Меня затопило беспечное возбуждение сродни тому, что я испытал, глядя на гниющую тушу коровы, разорванную стервятниками. Я снял тело с пронзавшей его каменной иглы и подтянул к себе. Сжал в объятиях труп в гнилостных пятнах и закачал из стороны в сторону, словно захваченный водным танцем. Дыра, зиявшая у него в боку, была как разбухшая мякоть сырой распадающейся ткани, но цвет ее напоминал мне подводное солнце, красный диск, что каждое утро восходит над рыбьей суетой невидимой архитектуры Атлантики. Я поставил тело вертикально и прижал к груди. На лице не было глаз, носа и ушей. Я слегка отстранил его, размахнулся полукругом и швырнул тело спиной в набегающую волну. Прибой лизнул его, отступая, и омыл, подобравшись ближе. Я смотрел, как морская вода струится по алой ране – это было как ритуал очищения. Я дождался, пока волна отступит, бросил прощальный взгляд на раздутое тело, подобное кальмару, в синюшных разрывах, и зашагал обратно к скоплению обломков. Мой маниакальный восторг сменился тягостным унынием, я сел на ящик из-под пива и стал смотреть на океан. Таков мир: то его слишком много, то слишком мало. Зловоние, груды мусора, оскверненный берег – все сделалось мне ненавистно. Я не двигался. Я чувал, как над морем собирается буря. Скоро тучи вздрогнут, будто кусты сирени, и склеятся в багровую взбитую массу.

И лишь когда ялик в последний раз подошел к берегу неподалеку от меня, я вскочил и ринулся по мелководью, размахивая руками, чтобы привлечь внимание; меня подняли на борт и доставили на «Киферу».

Дома меня приняли равнодушно, как встречают людей посторонних. Отца вновь повысили по службе, и жизнь свою он теперь проводил на светских мероприятиях; дородность его росла с осознанием

собственной важности. Мсье Фламарион по-прежнему был при отце и не скрывал своей власти над ним. Учитель по-хозяйски передвигался до дому и диктовал правила бесед за столом. Его изнеженные тонкие пальцы вдруг превратились в клешни омара и крепко стискивали оголенные нервы.

Неизбежный конфликт между мной и отцом, разумеется, состоялся. Как выяснилось, он нанял соглядатая, чтобы за мной следить, и знал о моем влечении к проституткам из девятого округа. От своего осведомителя он узнал имя одной из них, Марты Давид, рыжеволосой девицы с обильными татуировками в виде зеленых и синих змей на руках, которые она нарочно выставляет напоказ. Он знал, что Марта живет на улице Барбесс, в доме 45, за закрытыми ставнями. Но больше всего меня потрясло, что он знал имя Лотреамон, которым я назывался в Париже.

Я слушал, как его ярость рикошетит от стены к стене. Эхо отзвучивало безжизненно, точно свинцовое пушечное ядро, брошенное в колодезь. Меня заклемили как паразита, наркомана, который рано или поздно сгниет от сифилиса. Отец богател, невзирая на его уверения в обратном. От одного знакомого на улице я услышал, что отец купил отель «Пирамиды», где поил балерин шампанским. Все, что я узнал об отце за долгие годы, доказывало: в его жизни не было места для моей матери. Он и не пытался ради ее чувствительности скрывать свою напористую мужественность, одержимость карьерным ростом и грубые сексуальные вкусы. Напротив, он выставлял все это напоказ, словно карал мать за то, что в браке она предъявила на него права. Она была словно якорь – держала его парусник, не давая ему устремиться в открытое море суетных амбиций.

– Если ты не справишься, – кричал он, – я вышвырну тебя из этого дома, и ты лишишься защиты, какую дает мое имя. Это мое последнее слово: твоя похоть тебя

погубит. Ты покроешься гнойными язвами и умрешь один в сточной канаве. А теперь поди прочь!

Когда двери захлопнулись у меня за спиной, будто их подтолкнул мощный ветер, я замер и прислушался к своим мыслям. Я слышал их поток. Все, чего я не сказал, копилось в безмолвном диалоге и искало выхода. Я бы мог обвинить его в смерти матери, чтобы мертвое тело ее всплыло из ночных вод его подсознания. Я хотел рассказать, что Марта специализируется на забавах О и А и что у нее на ягодицах вытатуированы лингам и йони, красным и индиго.

Я слегка успокоился, глядя в окно на бирюзовый небесный свод. Алые страстоцветы и оранжевые бегонии были как солнечный вихрь в саду. Природа жила независимо от человека, не оскверненная его сознанием, она подчинялась своим законам, ограниченная лишь продолжительностью времени года. На плечо легла чья-то рука. Прикосновение было легким, и все же в нем чувствовалась решимость не отпускать. Тяжесть руки определялась намерением, подвижимым мыслью, а не физической силой. Мне не потребовалось оборачиваться: я знал, что это мсье Фламарион. Я не шевельнулся.

– Вас тут искал человек, – сказал он, и в голосе прозвенела заговорщицкая нота, которую я давно подозревал, но ни разу не слышал. – Человек из бедных кварталов – ваш батюшка непременно добился бы его ареста, если б узнал, что он приходит в этот дом. Он не назвался, но сказал, что вы найдете его на пляже.

Едва различимое ударение, с каким он произнес последнюю фразу, ясно давало понять, что мсье Фламарион, подняв эту тему, оставляет за мной равно двусмысленный выбор.

– Мой долг – побеседовать с вами об этом, дабы избавить вашего батюшку от дальнейших страданий, – продолжал он тем же убедительным тоном, каким

говорил со мной прежде, когда я был его учеником. – Если вы захотите со мной поговорить, я буду в библиотеке.

Мне хотелось лишь одного: вернуться в Париж, устроив так, чтобы отец выделил мне достаточное содержание, дабы мое существование в Париже стало возможным. Обстоятельства маминой смерти разбередят его совесть, отмычкой вскроют тайник, где горит яркое пламя его вины. Сколько раз он, должно быть, пытался загасить этот огонь, просыпался по ночам, уверенный, что горит дом, но пожар бушевал лишь у него в голове.

Я решил, что пробуду в родительском доме не больше недели. Я не находил ни следа того, чем жил здесь когда-то. Ночью я запираю ставни, ибо знал, что Дама Червей будет следить за домом. Неизбывная бессонница отца и его настояние, чтобы свет горел всю ночь, дабы можно было вольно бродить по дому, тоже охраняли мои бессонные ночи. Я слышал, как отец меряет шагами библиотеку, а затем отпирает мамину спальню и заходит туда. Он оставался там долго, отпирал ящики, а потом выходил в коридор, явственно подволакивая ногу. Если бы я выглянул из своей комнаты, я бы увидел его, постаревшего на двадцать лет, на полпути между его спальней и спальней матери. Он словно пытался нести на руках самого себя, однако ноша тяжелела с каждым шагом.

Альма меня избегала. Было вполне очевидно, что она стала любовницей отца и, как ни парадоксально, его рабыней. Сама ее речь изменилась: когда-то стихийный обильный поток превратился в неловкие размышления над каждым словом. Глядя на нее, я вспоминал омертвевшие глаза безумцев на улицах Парижа. Люди в лохмотьях брели сквозь ночь: их взгляды прозревали внутреннюю реальность, столь далекую от воплощения, что им никогда не соприкоснуться с непосредственностью вещей.

Только знакомый ритм прибой приводил меня в чувство. Его изменчивый грохот висел в воздухе, превращая небесный свод в чертог гремящего эха. В Париже со мной была та же музыка, только она звучала внутри – стук игральных костей в стаканчике, звуковой стимул памяти. Редкие облака застыли над горизонтом, словно мазки белой краски, нанесенные чьей-то невидимой кистью.

Подобно тому, как я отказался от своих прав по рождению, приняв имя Лотреамон, я решил отойти еще дальше от себя, создав «Песни Мальдорора». Мальдорор станет исполнителем преступлений, порожденных фантазией Лотреамона. Я сотворю третье лицо – моя маскировка станет непроницаемой. Темный лиризм Мальдорора останется неразрешимой загадкой для эпохи, в которую он жил. Его поэзия расстроит нервы, как расстраивают их атональные диссонансы, которые я импровизировал на пианино.

Мальдорор станет вещим козлом отпущения, его голос, предвкушая конец, зазвучит вне времен. Готовясь к его воплощению, я уже записал про него: «Дар жизни – что удар кинжала, и я мог бы легко залечить эту рану, наложив на себя руки, но поклялся не делать этого. Пусть каждый час нескончаемой вечности моя отверстая грудь будет перед глазами Творца. Так я желаю наказать его».

Меня оставили в покое, и я целыми днями сидел у себя или бродил по чердаку. Я привык к вынужденному одиночеству в Париже, а здесь дом, который я знал, стоял на дне моря, и окна его были распахнуты для утопленников.

После краткой беседы у окна мсье Фламарион сделался недостижимым. Он превратился в негласного хозяина дома, где теперь все подчинялось ему. То, что он разглядел в отце – и медленно вскрыл, как шов, распуская стежок за стежком, – началось задолго до смерти матери. Мне казалось, если как следует

прислушаться, можно различить, как он моргает над книгой. Он читал очень внимательно, точно желая сосредоточиться на том, что важнее. Как мало я знаю этого человека, думал я, – чем он живет за пределами нашего дома? Мне ни разу не приходило в голову поинтересоваться, где он обитает и с кем, и зачем должен быть всегда рядом.

Служка за мною в Париже – идея, что больше приличествовала ему, нежели отцу. Он это задумал, явившись коварство, и тщательно читал письменные донесения. Я не торопился: расчислял его козни по кусочкам и, слушая его речи, учился думать, как думает он.

По ночам небо по обыкновению переливалось фейерверками, и гранатовый глаз маяка сверлил прибрежные воды. Тогда я оживал, и моя фантазия вытаскивала образы из подсознания. Мальдорор жил в замкнутом круге конца и начала – черный змей, глотающий собственный хвост. Вот тогда я брался за перо и, погружаясь в глубины психики, открывал источники, что затем вырастали в самостоятельные вымыслы.

В тихий полдень один человек вошел в заброшенную деревню. Шаги его гулким эхом отдавались на площади и укоряли его. Колодец был засыпан негашеной известью, все животные перебиты. Человек заходил в опустевшие дома, пригибаясь в низких дверях, и размашистый шаг его пожирал расстояния. Он подошел к белой стене, на которой кто-то начертал кровью: Внутри обитает сумрак. Мы не видели ничего.

Человек отмахнулся от этого знака и продолжил поиски. Один раз, когда зеркало явило ему отражение, он разбил стекло вдребезги, ибо не узнал того, что увидел. Подойдя к последнему дому, за которым уже начинались опаленные склоны предгорий, он поджег этот дом, не зная, что внутри был человек,

единственный, кто уцелел, – он лежал на матрасе и ждал, дабы раскрыть вселенскую тайну добра и зла тому, чьи шаги надвигались из долины. Человека звали Мальдорор.

Бывало, я не спал до рассвета, опустошенный после ночи творения и смерти. Мое создание уже обрело независимую орбиту вокруг незаходящего внутреннего солнца.

Я одевался и, бледный как смерть, выходил к завтраку, желая только скорее покончить с формальностью, лечь и проснуться за полдень. Мсье Фламарион являлся к столу сразу после отца, и они заводили беседу о мазорке – мафии, служившей диктатору Росасу и изуверством своим державшей в непреходящем страхе весь Монтевидео. Буквально на прошлой неделе они сожгли ранчо, превратив в живой факел владельца и загнав его, просмоленного, на сеновал. Люди боялись этих террористов. Те налетали на фермы, словно черная гроздовая туча, упавшая с солнца.

Смутное отцовское беспокойство в присутствии мсье Фламариона было очевидно в то утро, что положило конец моему кратковременному пребыванию в родительском доме. Я ощущал шов отцовских размышлений за столом. Словно черная полоса прочертила белую скатерть. Дверца сдерживавшая его мысли, не желала закрыться. Мерцала, и отец казался рассеянным.

Зайдя к нему в кабинет, я сразу ощутил перемену: без мсье Фламариона в комнате стало как будто просторнее. Больше воздуха, больше света. Отец казался выше ростом, собраннее, подтянутее; он старался удержаться в центре. Он выпятил грудь, подчеркивая свою авторитарность, но в чопорности его я улавливал слабинку. Внезапно он сник и тяжело опустился в кресло. Глядя на бумаги, разложенные на столе, он сказал, не поднимая глаз:

– По причинам, которые тебя не касаются, я освободил мсье Фламариона от его обязанностей в этом доме. Относительно твоего образа жизни, который я никак не могу одобрить, пока ты не получишь профессию, я распорядился, чтобы тебе выплачивали небольшое ежегодное содержание при условии, что ты справишься.

116

Стоя в отцовском кабинете и уже зная, что это – в последний раз, я вдыхал запах пчелиного воска, которым Альма так старательно натирала массивную мебель красного дерева, и пытался представить, как отец застал мсье Фламариона за чтением его личной корреспонденции; как лукавыми дугами выгибались брови мсье, когда его взгляд наткнулся на потенциально преступную фразу. Или все было наоборот? Быть может, это мсье Фламарион выговорил отцу за некое нарушение приличий, и тот, взбешенный подобной наглостью, отказал учителю от дома?

Отец выдержал паузу и сухо кивнул, давая понять, что я могу идти. Синий свет затопил прямоугольник окна. Даже сегодня, когда я взираю на городские крыши, эта оконная синева отражает мою внутреннюю перспективу и множится до бесконечности.

Соглядатай: Семь

Ваше подтверждение меня успокоило. Теперь, когда вы отказались от услуг Гюстава Фламариона, можно надеяться, что почта будет доходить до вас исправно. Психологические последствия его увольнения неизбежно отразятся на поведении вашего сына.

117

Я также размышляю, сколько могу оставаться в Париже без угрозы для собственной безопасности. Времена сейчас смутные, чернь может взбунтоваться в любую минуту. Ваш сын почти не выходит из дома. Свет у него горит в любой час. Немногие его записи, что я прочитал, остаются для меня непостижимы. Марта Давид сумела вытащить несколько листов из корзины с бумагами, предназначенными для сожжения. Я, как мог, разбирал этот почти совершенно неразборчивый почерк. Полная бессмыслица. Поначалу я испугался, что Изидор Дюкасс сошел с ума и изливает свое слабоумие на бумагу. Но, по здравом размышлении, пришел к выводу, что эти записи, вероятно, содержат в себе шифр – масонский, герметический, эзотерический. Как иначе объяснить подобные строки: «Пусть в мой последний час вокруг меня не будет никаких духовных пастырей. Посреди ревущего моря или стоя на вершине горы хочу я умереть... но не обращаю глаз к небу: зачем? – я знаю, мне суждено сгинуть навеки. Но кто это, кто открывает дверь? Я приказал, чтобы никто не смел сюда входить. Кто б ты ни был, ступай отсюда прочь, но, быть может, ты хотел увидеть на моем лице – лице

гиены – признаки страдания или страха, – тогда приблизься и разуверься. Он хотел доказать свою власть над вселенной...»

Листы разорваны в клочья, и я цитирую отрывок по памяти, но мне представляется, что подобные темы проходят через все его сочинения. И еще одна трудность очень мешает расследованию: люди приходят к нему домой. Сам же он, боясь обнаружения, не посещает места, способные так или иначе его скомпрометировать.

Иногда он бывает на улице Вивьен, но опять же безо всякой цели. В конце улица перегорожена, там ведется строительство. Подобные места всегда привлекали вашего сына. Он стоит и смотрит на костер, который строители жгут на площадке, но в разговоры не вступает. Я навел справки в ближайших кафе и лавках: он ни с кем не встречается, не забирает и не оставляет писем. Я намерен расследовать этот вопрос подробнее.

Где и чем он питается, остается загадкой. Насколько я понимаю, он живет на вине и хлебе. Заходит в винную лавку и покупает хорошее красное бордо. Вино и книги, очевидно, составляют две главные статьи его расходов.

Хозяин книжной лавки ничего не говорит. Маленький человечек с головой, как маслина, в неизменной красной феске; лавка его располагается у моста Мари, он называет себя Анри Лотарин (я подозреваю, что имя вымышленное) и является, судя по всему, радикальным пропагандистом. Его встречи с Дюкассом проходят в подвале, где стоит печатный пресс. Нет доказательств тому, что связь вашего сына с этим человеком носит политический характер, но у них, безусловно, имеются общие интересы.

Жду ваших дальнейших инструкций. В случае революции Дюкасс, несомненно, вернется домой, а я последую за ним.

Глава 7

Дом 32 на улице Фобур-Монмартр. Смена адреса, но не привычек. Я по-прежнему живу под самой крышей; свет, что горит в моем окне ночь напролет, привлекает любопытных и тех, кто живет на краю.

Я живу в вечном страхе, что мои сочинения обнаружат и сожгут. Поверхностный полицейский обыск закончится ликвидацией моих бумаг или визитом в Кассационный суд, что заседает в сумрачном здании и считает своим долгом издавать законы против литературы, которая так или иначе подрывает бонапартистский режим.

Они стоили мне здоровья, эти бесконечные алые рассветы, когда рождался «Мальдорор»: этот иной, через которого я прославлял поэтическое видение пред лицом политических группировок, бунтов толпы и напора эпохи, грозящей сорвать затворы шлюзов.

Мое окно обращается из зеленого в голубое; над Сеной мерцает утренняя звезда. В этот час происходят великие споры на внутреннем плане: безумие – бык, которого ведут на бойню, голова его опущена, яростно раздуваются ноздри, дикий угол рогов противится пленению. Когда он несется по чистой странице, слова вздымаются, напуганные его черными, громыхающими копытами. У меня же есть только рука, чтобы сдержать это бегство.

Биография поэта пишется изнутри. Дни мои согласуются с днями вымысла, и малы перехлесты, в которых возможно выделить самостоятельный поток,

кой заносят в свою хронику истории литературы. Свою двойственность я храню в тайне; таким образом, никто не сумеет проникнуть между нею и мной.

Я пытаюсь вообразить, каким вижу свой своим знакомым, – вероятно, человеком, чья независимость очевидна, несмотря на его революционные заявления. Я выгляжу безукоризненно: черные бархатные костюмы, белые льняные рубашки, нарочито небрежно завязанный красный шелковый галстук. Люди более-менее проницательные с легкостью составят суждение о моих интересах по пианино и книгам, но мое «я» все равно остается загадкой, поскольку я не храню никаких бумаг, кроме текущих записей, и уничтожаю всю корреспонденцию, что приходит из Монтевидео и Парижа. Издатель Бодлера, Пуле-Маласси, пишет мне из Брюсселя, предупреждает, сколь рискованно публиковать мою книгу, и я заучиваю письмо наизусть, а затем сжигаю. Его слова вспоминаются в те ночи, когда работа горит во мне, словно костер в холмах: «Ваша эстетика выражения зла, безусловно, подразумевает живейшее стремление к добру, высочайшую нравственность. В этом смысле вы наследуете традиции современного сознания, начатой Флобером и Бодлером, которые постигают взаимодействие добра и зла в человеке».

Я пытаюсь вообразить этого человека: его руки испачканы печатной краской, глаза близоруки от чтения гранок, неизменный юмор обезоруживает кредиторов. Мне представляется, что мысли его заняты весом и плотностью бумаги, водяными знаками и выбором гарнитуры шрифта, отпечатки коего будут чуть выступать над страницей, неизменные в своей осуществлении.

Неистовый темп «Мальдорора» распалит непосвященных. Они станут читать эти песни под покровом ночи, как я их писал, и в этой яростной музыке различат ритм нового века. Я все же надеюсь, что

их опубликуют. Я, кто похоронил свое имя, сокрыл свою жизнь, спрятал личность, предвкушаю, какое смятение вызовет эта книга. Шаг ее будет размерен, путь долог, она будет опалять, подобно огню, сжигающему луг после сенокоса.

Я избегаю литераторов и знатоков литературы: тех, кто недостаток оригинальности восполняет влиятельностью. Лакруа иной раз навещает меня и просит почитать, что есть нового из «Мальдорора», но я неизменно отвечаю, что работа еще не закончена, и таким образом текст остается при мне. Я уже уговорился, что первую песню опубликуют в сборнике «Ароматы души», который выйдет в Бордо.

В тех редких случаях, когда я встречаюсь с пищевой братией, я неизбежно разочарован. Я слышал их имена – шелушащаяся штукатурка на ликах раздутых полубогов: Готье, Дюма-младший, язвительные братья Гонкуры, Ренан, Жорж Санд, стареющий, злобный и желчный Сент-Бёв – все те, кто считал, что их книги изменят мир, и пережил свои сочинения.

Эти встречи всегда одинаковы. Дом на улице Ванно, четвертый этаж, квартира, отделанная красным плюшем, с портретами кисти Ари Шеффера на стенах, разговоры плавно переходят от политических диспутов к нападкам на Академию; затем общество рассыпается, отправляется в квартал красных фонарей в компании декольтированной блондинки, каковая уверяет, что никогда в жизни не смоеет алую розу, которую Мане нарисовал у нее на спине, и требует, чтобы ей разрешили смотреть в потайной глазок, дабы насладиться зрелищем наипричудливейших фетишей.

Но в основном я один. Так собираются воспоминания – жизнь складывается из ассоциаций мгновения. Синяя бухта вспоминается под цветением мимозы, лицо с алым ртом и золотыми серьгами в ушах проступает в тумане осеннего бульвара. Бесконечные

вымыслы множатся. Когда нервные окончания мелко дрожат под натиском слов, возникают кристаллизованные образы.

В одиночестве я более всего тревожусь о том, как использовать время. Его то слишком мало, то слишком много; мы либо живем внутри, болезненно суживая горизонты, либо пребываем в полной изоляции посреди безбрежного пространства. Я живу, словно опираясь ладонью на острие ножа, и пишу то, что в теории я бы назвал Предисловием к Будущей Книге. Соотношение время-творение всегда должно быть таким: пропорция, что описывает всю полноту энергии, вложенной человеком в определенный этап жизни, и каждое сочинение – предисловие к следующему этапу, куда еще предстоит прибыть, а логическое завершение – смерть.

Я живу ради яркой метафоры, которая совмещает несовместимое. Красное винное пятно на странице – как пьянящий напиток для танца слов. Это мой маленький ритуал: россыпь винных брызг на бумаге.

День, час, месяц, все они похожи – слова мерцают, точно капельки зажженного масла, порой не желают угомониться, порой врезаются черным мрамором в условную неизменность. Люди, бывающие тут, ходят ко мне, дабы выпить и поговорить об изъянах в жизни, неизбывных, словно гнилой бочок на побитом яблоке. Эти люди – они другие, мономаны, чуждые этому веку. Один страшится, что совершил убийство, которое ему приснилось, а тело убитого сбросил в Сену, и если заснет, его жертва откроет глаза у него в голове.

Дав волю взрывной фантазии, я по-своему постиг, что больной душе нет исцеления. Импульсивные видения, кои я изливаю в «Мальдороре», питаются той же энергией, что воспламеняет изгоев, которых тянет ко мне. О моих сочинениях им ничего не известно – разве что порою речь моя выдает, как занят

я мыслями о поэме. Эти ночные беседы высоко над городом – способ вычленив настоящее, прыгнуть с поезда на ходу и поверить, будто тебе удалось замедлить ход времени, ибо ты идешь пешком, в то время как поезд на всех парах мчится в Москву.

Я не жалею о Дюкассе, которого похоронил в Южной Америке. Он бы застрелял там и со временем остепенился. Останься я Дюкассом, я бы ныне сидел в прохладном правительственном кабинете, специальной машинкой обрезал бы кончик ароматной гаванской сигары и обсуждал административные меры контроля революционных бунтов.

Тут ходят слухи о Прусской коалиции и о вторжении Наполеона в Пруссию Бисмарка при поддержке Австрии. Анти-династические группировки бунтуют в Париже, мятежники грабят ювелиров и меховщиков и занимаются любовью прямо на улицах. Сила, что управляет моим подсознанием, толкает людей на бесчинства – как тех поджигателей, предавших огню дворец Тюильри. Равновесие города расшатывается в смятении. Один фанатичный республиканец, проходящий ко мне, говорит, что император болен и за последние три месяца постарел лет на двадцать. Империя стремительно мчится к гибели.

В первый раз топот людей, бегущих по улице в ночи, и неожиданный грохот взрывов где-то в городе изрядно меня напугали. Мое внимание привлечено было тем, чего я не сознавал, ибо не принимал всерьез. На рассвете я вышел на улицу и в канаве подобрал целый ворох дурно отпечатанных листовок. Пропандистская ложь, эти листовки, однако, наглядно доказывали подлинное недовольство Наполеоном и его окружением. Заляпанные дождем пламенные карикатуры, избыточные опечатками и орфографическими ошибками. Я собирал их по канавам, в детском восторге от их грубости. Они были как разноцветные осенние листья, заполонившие водостоки, избитые

дождем в раскисшую массу, ногами прохожих размазанные по мостовой.

Иные бури, более мощные и разрушительные, занимали меня. Мое здоровье, и прежде слабое, теперь являло признаки расстройства. Днями напролет я пребывал взаперти, лежал в темноте, слушая черный прибор, ревуший в моих венах.

124

Я вновь начал ходить к Марте Давид, извращенно наслаждаясь мыслью о том, что за мной следят. Мне нравилось наблюдать, как Марта расчесывает рыжую бурю своих волос. Это было как поле цветущих маков: пламенеющий закат, ниспадавший почти до пояса. Она дурачилась, изображая тигрицу, ковыляла по комнате на четвереньках, задрав зад, поощряя меня овладеть ею сзади. Марта в длинных, до локтя, кожаных перчатках, с вуалью, усыпанной блестками: она сластила меня и покусывала кончик, как клубничку.

Ее наивные детские фантазии шли вразрез с ее жадностью к деньгам. Раскрашивая соски, она рассказывала о детстве в Руане и об отце, сбежавшем летней ночью. Этот коренастый широкоплечий мужчина, чьи предки приехали из России, служил сигнальщиком на провинциальной железнодорожной ветке. Он сбежал с одной местной крестьянкой, а мать Марты звала его в поле на закате. Бродила босая по ночным полям, переходила ручьи, стучалась в двери, искала его по хлевам и амбарам, пугала нервных лошадок в конюшнях и вернулась домой на рассвете, обессиленная и обезумевшая.

Марта помнила все устрашающе отчетливо, до мельчайших подробностей. Ее душа рвалась воплотить эти переживания в творческой форме, но она знала только, что ее тело влечет мужчин, и продавалась за любую цену, которую могла взыскать.

Марта, мастерица затяжной фелляции, часто вспоминала детство. Кареглазых коров, что тепло

дышали на осенних лугах в россыпи ярко-желтых дубовых листьев, провинциальность крестьян, которые говорили исключительно о своих стадах, о гибели урожая, о побитых градом садах и низких ценах на скот, который продают на убой.

Когда Марта об этом рассказывала, ее лицо смягчалось, но она тотчас брала себя в руки и вновь суровела, стараясь не выдавать чувств. Она нашла отдушину в рисовании акварелью: простые сельские сценки в ярких синих, зеленых и желтых тонах, потом однажды конкретика исчезла, и Марта взялась за абстрактные формы, изображала безлюдное поле под сенью зловещих грозовых туч. Это увлекло ее, а затем порыв иссяк и рисовать стало нечего. Она не знала, отчего он исчез и куда подевался; знала только, что это совпало с началом месячных. Рисовать было нечего, Марта погрузилась в уныние, цапалась с матерью и подолгу гуляла одна в поисках небывалого.

125

Она стала красить глаза густо-черным, а губы – алым, и люди поначалу смеялись над этим детским стремлением скорей повзрослеть, над забавными потугами школьницы подражать натурщицам. Она стала символическим воплощением всего того, что мужчины из ее деревни страстно желали, но боялись касаться, пока один из них не предложил ей денег, чтобы она пошла с ним в поля. Он ничего не сказал о том, что произойдет, – он рассказывал про ястреба, что напал на его птичий двор, пернатой молнией спикировал с небес, в суету хриплых воплей, и в клоушь разодрал цыпленка. Эту историю он повторял с небольшими вариациями, а ей запомнилось, как колыхались под ветром зонтики бутеня и как луга пахли папоротниками. К тому времени, когда он умолк и принялся гладить ее по бедру, голова у нее кружилась от его монотонного повествования. Прикосновения к коже избавили Марту от его голоса. То была иная форма общения, и она знала, что такое не

должно происходить, но оно все-таки происходило, независимо от ее воли, будто бы даже не с нею, только она не противилась его пылким поцелуям, его волосатой руке, что неуклюже рванула блузку у нее на груди, толчку резкой боли, пронзившей ее, когда мужчина сделался частью ее, вонзая в нее чужое тело, и они стали как два перекрученных побега, сросшихся в единый стебель.

126

В измученной Марте, цепляющей клиентов возле ратуши, есть нечто от тех противоречивых сил, что сжигают мое существо. Море, мое наследие, отражается в ее переплетенных змеях-татуировках – они показывают языки, навечно вколоты в ее руки синими, зелеными и фиолетовыми чернилами; в змеях, которые для Марты символизируют порты, матросов, пронзительный визг плешивой обезьянки, что носится между кнехтов и перлиней. Все это – символы морских путешествий, в которые Марта ни разу не отправлялась.

Марта тоже взяла себе новое имя. Меня она знает как Лотреамона и никак иначе: человека, что питает к ней интерес не столько сексуальный, сколько познавательный: я плачу ей за рассказы об эротических пристрастиях других людей – политиков, банкиров, матросов, священников, дабы в Марте обрести связующее звено с человеческим миром.

Когда я ухожу от нее и возвращаюсь к себе на чердак, меня неотвязно преследует страх, что, пока меня не было дома, кто-то проник туда и обнаружил мои бумаги. Другой я, юный Дюкасс, неизменно прячется за дверь и упрекает меня за то, что я отказал ему в праве жить. Я знаю, что он убьет меня, если сумеет сбежать из моего плена.

Я продолжал работу над «Мальдорором» – писал о его неприятии условностей, яростных нападках на абсолюты, признанием гермафродита, об уличных шайках, что топчут его ногами. Он выдержит все

благодаря своей силе, пристекающей из единства противоположностей.

По вечерам я наряжаюсь перед зеркалом, хотя и не думаю выходить. Монтевидео был городом масок, огненных драконов и радужных фейерверков, ошеломляюще яркой помады на губах человека неопределенного пола, чей рот похож на кровавую рану; там всегда оставался шанс – в броске костей, в электрических дугах, отмечавших полет светлячка, – что случайная встреча разрешится волшебной ночью в саду, куда доносится шелест прибора.

127

Здесь, на улице Фобур-Монмартр я ощущаю всю тяжесть, что свойственна этому веку. Моя жизнь – приготовление посредством слов к бытию, кое я обрету, отбросив щит вымысла. Откуда им знать, этим случайным прохожим, о сокровенном пространстве, где проходят мои дни? Моя комната набита журналами по естествознанию, бесконечными вырезками из английских изданий о птицах, рептилиях и земноводных. Мне часто бывает видение: два орла бьются на вершине высокой горы на фоне алого солнца Южной Америки. Ошеломительная погоня в воздухе – и когти сцепляются, не разнять, и одна птица валит другую на спину, бешено хлопают черные крылья, и вот поверженный противник обмякает – шея свернута, нутро вывалилось наружу. И тогда я вижу, как победитель танцует причудливый танец пред солнцем, с кончиков крыльев стекают потоки огня, и солнце становится темно-красным и простирает над пропастью свои крылья. Признавая эту великую силу, орел вырывает себе глаза и стоит немо, склонив голову перед чернеющими небесами.

Отец в письмах велит мне ехать на юг. Под предлогом того, что средиземноморский климат будет полезен мне для здоровья. Но я предпочитаю остаться; мои апокалиптические видения гармонируют с нынешними временами. Недавно кто-то кричал

у меня на лестнице, что Император скончался, а еще кто-то – что Париж пал.

Время смятения и слухов, угроза мобилизации великих сил, и все это ничего не значит для ног, давящих черный виноград, для рук, тянущих сеть из воды и отделяющих синюю кефаль и макрель от зеленых и красных комьев влажных водорослей.

Вчера ночью ко мне пришла Марта, и я испугался. Я нарочно не давал ей адреса, но она как-то отыскала меня и пришла: лицо белое, глаза черные-черные, все ее существо дрожит в страхе на кромке нижней губы. Я был в дурном настроении, я ненавижу, когда мне мешают работать, но все же вытянул из нее, что уже несколько дней ее преследует некий человек – одно и то же лицо в толпе возникает опять и опять, с беспощадным упорством, но не пытается заговорить. Оно смотрит и словно не видит, исчезает, не глядя, и все же как будто знает то, что нет необходимости видеть и о чем не нужно говорить. Лицо из тех, что сперва возникают в голове и только потом воплощаются вовне, и ты уже не понимаешь, где что. Марта не смогла объяснить это внятно, но по роду занятий у нее развилась психологическая проницательность, позволяющая оценивать странное. Она повидала почти все крайности человеческого поведения, она знала мужчин, что устремлялись туда, где обретали двойственность, личность, в своем желании столь мощную, что на какой-то миг они оказывались на пороге трансформации. Однако этот человек был не из тех, кто платит за игры с переодеванием, за то, чтобы его унижали, или сюсюкали с ним, как с ребенком, или воплощали еще более странные желания.

Я налил Марте бренди и укутал ее одеялом; но страх уже отравил ее кровь, словно змеиный яд. Она была такая холодная, что мне пришлось угрозами выманить из дров огонь и набросить ей на плечи свое черное пальто. Когда наконец к Марте вернулась

способность распознавать окружающий мир, она сказала, что этот мужчина однажды пришел к ней среди ночи, постучался в дверь, но она ему отказала. И с тех пор чувствует, что он постоянно рядом. Она слышит его дыхание в коридоре, его тень на темных лестничных пролетах огромна, гулкое эхо его шагов громыхает по улице до рассвета. Марта уже не один год торгует собой и отдается всем без разбору, но все равно остается ранимой, остро осознает свою физическую уязвимость и понимает, что закон ее не защитит. Этот человек – он был как взбесившийся конь, слепой демон из ада, желавший ее растоптать, размазать кровавым пятном, и она умоляла судьбу лишь об одном: чтобы это случилось скорее и ужас закончился.

Я сидел с ней два дня, страшась ее бреда, но отчего-то еще больше – того, что нас могут застать вдвоем. Я боялся, что она умрет; моя книга еще не закончена, и меня подгоняла одержимость, я не желал отвлекаться ни на миг. Но что хуже всего, в помутнении рассудка я наведалься к Марте домой и только потом, возвращаясь сквозь клубящийся синий туман, вспомнил, что она спит у меня в квартире. Я даже испугался, что, когда приду, ее там не будет, потому что я убил ее, но она сидела на кровати, настороженная, словно кошка, которая только что проснулась, и ела чернослив, раздобытый где-то на улице.

Нервы были истерзаны в клочья. Я уселся за пианино и, нисколько не озадачиваясь гармониями, выдал черный громовой раскат, гнетущее анданте. Я играл оголенными нервами, бился о стену звука – так однажды я стоял пред гигантской волной, что мчалась к берегу по синим морским дорогам. Краем глаза я видел, как Марта поспешно одевается, запихивая полные груди в черный атласный лиф, отчаянно желая скорее сбежать из этой комнаты, от моего настроения. Разум мой наполнился ревом басов – марш смерти к черному солнцу, прорыв в царство видений, но

волна отступила, и меня опять вынесло в повседневность, к осколкам разбитых мною стаканов, книжным полкам над пианино и нестройному гулу, что носился по комнате в тщетных поисках выхода.

Марта исчезла. Я встал у окна, глядя в сумерки. На улице горланили какие-то люди. Дело дошло до рукоприкладства, а потом сквозь толпу пробился агент полиции, волоча за собой главаря, жилистый человеческий ком, явно изголодавшийся, который яростно отбивался, воодушевленный своими пламенными призывами.

Я открыл тетрадь и записал свои мысли по поводу завершения «Мальдорора».

Теперь же обобщающая часть кажется мне вполне завершенной и убедительной, так что ныне я намереваюсь перейти к аналитической части... Итак, я приступаю к роману длиною в три десятка страниц, и впредь объем моих творений будет таким или почти таким же. Давно уже лелеял я надежду, что все мои идеи очень скоро, со дня на день, облекутся в ту или иную литературную форму, и, наконец, после многих бесплодных попыток, такая форма нашлась! И оказалась лучшею из всех возможных – ибо нет ничего лучше романа!

Теперь я знал, что завершу роман стремительно, окончательно и без помех. Я изгнал Марту из своей жизни; больше никого и никогда я не подпущу к себе. Поэзия требует воображаемого перехода в посмертие. Поэт должен предвосхитить новый язык, образ мыслей, который надолго пересечется с будущим. Ночами я нередко задумываюсь о тех, кто писал в надежде, что в новом веке их прочтет пара глаз – синих, или зеленых, или серых.

Единожды в день, в сумерках, я выхожу из дома. В мире все по-прежнему: желтый дом, и плющ

зигзагом вьется по архитектурным несоразмерностям; ребенок с рыбьим ртом пускает кораблик в сточной канаве, танцовщица покупает атласные балетные туфли, и полоса красной краски на мостовой – черта, которая стала мне предупреждающим знаком, безмолвным наказом повернуть назад. Я уверен: если переступить эту полосу, впредь мне не будет удачи. Как будто незримая сила толкает меня назад, и я выхожу на прогулку с единственной целью: найти этот символ и вернуться домой. И если когда-нибудь я не обнаружу ее и забреду в незнакомый квартал, вполне может статься, что я так и буду идти днями напролет, не в силах сдержать свой импульс к движению.

По возвращении домой я сажусь писать. У меня на странице томятся в бездействии и ожидании великие звери. Я крепко держу в руке хлыст метафоры, ибо клише я презираю. Периодически на меня нападает жар – в Монтевидео, я, должно быть, подхватил вирус. Днем, когда мне полагается спать, я лежу в оцепенении, и мозг сияет видениями – они подобны рваным вспышкам зарниц над безбрежной пустошью.

В свете скорого окончания моей книги революция не значит ничего. Разгоряченные речи соседей, перекрикивающихся с балконов, убеждая друг друга бежать из города, пока не поздно, оставляют меня равнодушным. То, что я прозреваю, то, что читаю в своей душе, – катастрофа вселенского масштаба. Геноцидная ярость народов – ничто в сравнении с бешеным вращением вселенной: гигантский черный шар надвигается на меня, и я бессилён убраться с его пути.

Я принимаю наркотики, чтобы снять напряжение. Когда консьержка сказала, что меня искала молодая рыжая женщина, я впал в паранойю и едва не собрался бежать. Она оставила мне записку – каракули, в которых я сумел разобрать только слова «ради твоей безопасности», прежде чем уничтожил листок.

Хотя сейчас лето, огонь у меня в камине горит постоянно. Сточные канавы исходят зловонием. В воздухе пахнет переменами, будто осень решила остаться здесь навсегда, будто все осени мира прикатили сюда красный шар палых листьев – вниз по склону Монмартра, в город. По ночам старые бонапартисты предаются разнузданному бунтовскому разгулу, пока не грянула ожидаемая катастрофа.

132

Весь Париж взбудоражен скандалом вокруг убийства Виктора Нуара. Принц Наполеон, этот вздорный, вспыльчивый человек, выстрелил в упор, прямо в сердце; журналист кое-как выполз на улицу в Отёй и умер в сточной канаве рядом с лавкой аптекаря. Это убийство, за которое не воздалось по справедливости, – черные буквы ламповой сажи на плакатах, – породило во мне идею, что этот молодой еврей Салмон, известный под именем Виктор Нуар, каким-то образом связан со мной. Я чувствовал сопричастность человеку, о котором вообще ничего не знал. В своем предельном отчуждении я связал убийство с красной чертой, которую так суеверно созерцал всякий раз, выходя на прогулку. Несколько дней я пребывал в полной уверенности, что эта красная полоса на мостовой – настоящая кровь и что я, никому о сем открытии не сообщив, тоже внес свою лепту в убийство Виктора Нуара. Я пошел к этой красной черте и долго стоял, время от времени наклоняясь и трогая ее пальцем; в конце концов палец окрасился, и теперь я мог в каком-то смысле отождествить себя с жертвой убийства. Я был нужен ему в темноте, и не важно, насколько тонка нить, протянувшаяся между нами. Возможно, мы были с ним взаимозаменяемы, однако же это я сидел здесь, работая над последней частью «Мальдорора», и луч позднего солнца, пробившийся сквозь туман, освещал мою правую руку.

По ночам мое небо усыпано звездами. Они стали моими товарищами в часы одиночества. Под лиловым

покровом ночи звезды кажутся ближе, чем огни в высоких окнах. Через три месяца выйдет в свет моя книжка стихотворений – я создавал ее чуть ли не в оправдание шоковой тактике «Мальдорора». Чтобы расплатиться с печатником, мне пришлось написать Дарассу и попросить денег, ибо отец все беспощаднее. Он убежден, что я трачу свое содержание на парижскую ночную жизнь.

В последнем письме отец настоятельно советует мне вырвать себя из бездумного распада. «Великие книги не пишутся подобным образом. Получи профессию и обеспечь себе место в жизни: поэт во Франции в девятнадцатом веке подобен рыбьей кости, что подобрана бродячей кошкой».

133

Пожалуй, больше всего я боюсь, что отец наймет человека, чтобы тот проник ко мне в комнату и уничтожил все мои бумаги без разбору. Отчасти поэтому я столь редко выхожу из дома. А когда «Мальдорор» будет закончен, кем стану я? Триумvirат Дюкасс—Лотреамон—Мальдорор исчерпает себя, и мне придется искать себе другое «я» – эта метаморфоза потребует нового изменения личности, обновления кожи на старых ранах.

В последнее время они приходят все чаще, эти заблудшие души, выуженные из черного озера ночи, – осведомители, оккультисты, воры, революционеры, которые устали от всех смыслов, кроме естественной тишины, что настает перед рассветом, когда время словно застывает и иллюзии нового века обретают вероятность хотя бы на этот сиреневый час.

Я даже не знаю, как их зовут, моих гостей. Экцентричного молодого человека, последователя Джованни Гастоне, последнего герцога из дома Медичи, который с восторгом рассказывает о сладострастии Великого Герцога, отца Гастоне: как у него был целый гарем мальчишек, и как он лежал на роскошном ложе, попивая вино из горлышка, а перед ним танцевали два дрессированных медведя.

Или другого, который участвовал в естествоиспытательской экспедиции на Амазонку и теперь медленно умирает от какого-то тропического вируса, отравившего его кровь. Он до сих пор там, в речных излучинах, по-прежнему гребет вниз по течению, по зеленой воде – в необъятную тишину бразильских лесов. Когда его пробивает дрожь, слышно, как стучат его зубы и кости. Вся его защита от мира – тонкая кожа, такая прозрачная, что сквозь нее видна его анатомия.

Есть еще и другие, единственные в своем роде, хотя и менее запоминающиеся. Я жил так же, общаясь с теми, кто выпал из социальной ткани. Доступ к этому миру охраняют львы и факелы. Психопаты, бессонные, наркоманы – вот они, современные фурии, которые напоминают конформисту, что настоящая жизнь человека требует возвращения к первобытным истокам, обращения к зеркалу, которое отражает его существом с черными безднами глаз, змеями вместо волос и ртом, извергающим пчел-пророчиц.

Известия о войне множатся и ничуть не трогают меня. Мак-Магон собрал войска под Метцем в Рейнской области, до нас дошла весть о сражении под Саарбрюккеном. Императрица осталась регентшей в Сен-Клоде. Ходят слухи, что император настолько болен, что не может сесть на лошадь, и революционеры готовят переворот в его отсутствие. Я старательно делаю вид, что все это – ненастоящее, что оно исчезнет, если я потеряюсь, исследуя внутренние пространства. В последние три ночи ко мне никто не приходил: в городе небезопасно. Даже самый свирепый из ночных волков не рискнет выйти на улицы, когда бесчинствуют террористы, обращая витрины ювелирных лавок в россыпь сверкающих осколков. Грязные руки хватают изумрудные броши, бриллиантовые эгреты, чернь расплачивается с продажными девками сапфирами.

Несколько месяцев назад я написал: «Те, кто решились возненавидеть ближних, забыли о том, что для начала следует возненавидеть себя». Вот предпосылка морального поведения. Ненависть к себе устанавливает равновесие, в котором самоуничтожение обретает черты величия. Все, что я вижу, что говорю и что делаю, суть попытки примирить свое близкое «я» с существом высшим, со «сверх-я». И если я до него не дотягиваюсь, сие объясняется только величиим последнего, а не моей слабостью.

Я подумываю забаррикадироваться. Эта гонка со временем, пишущая рука пытается обогнать длань вечности на циферблате, и отсюда – недоверие к телу и сомнения в рассудке, постижение незавершенности человеческих устремлений. Помню, в детстве я просыпался под вопли людей, убитых при Росасе. Мне часто снился один и тот же кошмар: человек стоит в изножье кровати, раскрывает ладонь, а в ладони сердце, которое еще бьется. Мои крики будили мать, и ее оберегающее тепло и ромашковый чай превратились для меня в ритуал, связанный с ночью.

Безусловно, я мог бы собрать вещи, бумаги и покинуть Париж – уехать на юг, поправить здоровье в лазурном климате. Но я решил оставаться, пока дом не окажется под огнем. Лица революционеров напоминают чудовищ, которыми я населил «Мальдорора», – гигантского краба, самку акулы, осьминога, всех этих тварей, что питаются падалью, но, атакуя, становятся хищниками. Кто бы мог подумать, что в Париже столько перебежчиков – людей, которые ждали полжизни, затаившись в подворотнях, в переулках и внутренних двориках, ждали случая влиться в нынешнюю революцию.

Ходят слухи, что императрица является на приемы в черном, в диадеме из черного янтаря, – огни горят в окнах дворца Тюильри ночь напролет, и последние оставшиеся министры судорожно изобретают

способы сопротивления. Париж превратился в город бессонницы, лихорадка его ночей пульсирует у меня в крови. Я видел людей, танцевавших на крыше, они подбрасывали в воздух какую-то девицу и ловили, а потом здание пошло трещинами, и в проломах явилось безумное пламя, зеленое с синим.

Ночью они ломались ко мне в дверь, но быстро оставили эту затею. Когда утром я вышел на улицу, красная полоса на мостовой исчезла. Часть улицы разворочена и забаррикадирована. Это знак: ныне я остался один и лишен границ.

136

Соглядатай: Восемь

Ситуация в Париже с каждым днем все хуже. Скорее всего, когда вы получите это письмо, город уже капитулирует перед революцией. Я оставался здесь, рискуя жизнью, и намерен уехать, как только отправлю вам это последнее донесение.

137

У Изидора Дюкасса, а точнее, у человека, которого я принимал за него, есть двойник. Люди, бывающие у него регулярно, теперь хорошо мне известны – нищие и бродяги, при свете дня их будто и не существует, – но этот человек, вне всяких сомнений, отвечает описанию вашего сына. Удостоверившись, что Изидор Дюкасс пребывает у себя, я проследил за его двойником до улицы Риволи, где он пропал без следа в переулке. Он, вероятно, заметил, что за ним следят, и укрылся в подвале.

Все это меня беспокоит. Не исключено, что в некоторых случаях я преследовал не того человека. Этот юноша тоже заметно сутулится, ходит небритым, длинные волосы носит распущенными, как и ваш сын, и одевается так же – черный костюм, белая рубашка и красный галстук. Я убеждаю себя, что ошибаюсь, но факты неоспоримы. Трижды я видел их вместе. Они ходят по улицам под руку, увлеченно беседуют и вообще неразлучны, когда встречаются.

Насколько я постигаю, мое расследование касается почти исключительно одного из них. Но которого? Мысль о том, что у вашего сына имеется двойник, который служит приманкой, кажется слишком неправдоподобной. Где бы он такого отыскал?

Да, это правда, что страх, неудовлетворительное питание – продукты у нас нормируются – и зараженная вода отнюдь не способствуют ясности мысли, однако описанный мной феномен не есть порождение большого рассудка.

Вчера мне удалось проникнуть в жилище Изидора Дюкасса посредством подкупа консьержки. Комната обставлена скудно – только предметы первой необходимости. Похоже, он упаковал личные вещи, готовясь к отъезду. Консьержка его почти не видит. Жалуется, что по ночам он играет на пианино, невзирая на неоднократные просьбы соблюдать тишину. Четверть платы он всегда отдает авансом – вероятно, поэтому консьержка уверена, что ваш сын из комнаты не уехал. Его двойник предположительно живет в отеле на улице Вивьенн.

В силу профессии я повидал в своей жизни немало чужих жилищ, но немногие производили на меня столь глубокое впечатление. Дело не в обстановке – ничего предосудительного в комнате Дюкасса нет. Дело скорее в атмосфере. Комната вся пропитана неизбывной тревогой – там слишком тихо, и слишком сильно напряжение. Что бы в ней ни творилось сейчас, следующему жильцу будет здесь неуютно.

В силу обстоятельств я не могу больше задерживаться в Париже. Вполне вероятно, что Изидор Дюкасс уже уехал, хотя вчера я видел одного или же второго на улице...

Глава 8

Умирание начинается с аномалии обоняния. Всего только легкое дуновение в воздухе, некая эссенция, что всегда была неотделима от твоего дыхания и вдруг обрела различимый запах. Это наибольшее приближение к постижению своего «я» как осязаемого феномена. Двадцать четыре года эта секреция избегала моего обонятельного внимания. Она представляется мне белой бабочкой среди черных анютиных глазок.

Я систематически уничтожаю все, что не является жизненно необходимым. Письма, книги, одежду, дневники, немногие мамины вещи, которые я привез из Монтевидео, и всю корреспонденцию, полученную в Париже. Если меня заберут, им придется самим дать мне имя, а это непросто.

Ныне я ищущу достоверности в зеркале. Я приближаюсь к нему, словно рыба, в полной уверенности, что сумею без труда проплыть сквозь стекло и оказаться по ту сторону, выглянуть на вымышленных персонажей, которых я создал. Это реальные люди, они проведут меня в то измерение, где фантазии реальны.

Моя телесная оболочка, плоть и кровь, ныне ценится дешево. Улицы завалены мертвецами; повсюду куски неживого мяса, как туши на бойне. Мне приходится подавлять тягу к кровавым зрелищам, поработившую меня в ранней юности. То, что я пытался постичь в связке бешеного звериного страха и

смирненного покоя, который настает после инстинктивной паники, так и осталось неразрешенной загадкой.

Из города уже не выйти. Путешествия и почта прекратились. Я мог бы договориться, чтобы меня вывели под покровом ночи – мой образ жизни позволил мне завести друзей, которые в силах такое устроить, – но в городе царит замешательство: по слухам, армия Мак-Магона, дискредитировавшая себя, отступает к столице, дабы спасти Империю. Поразительно, как в мире внешней реальности целые народы загораются идеей, порожденной увечным, сифилитичным тираном, безумным мальчиком-королем, у которого вместо игрушек человеческие черепа; уязвленной гордостью человека, что ради укрепления своего пошатнувшегося авторитета целое поле зальет вспененной кровью, оставит завитки дыма вместо урожая и победно вернется к вельможным подхалимам.

Поэзия ушла в подполье. Исчезла, как та богиня, что спустилась к подземному царю, владыке тьмы, повелевающему тенями, которые не оставляют следов на асфоделях. Я в ответе за жизни, которые создал; мои творения подступают все ближе, обитатели студенистых вод в своем имагинальном рыбьем блеске, они выживают при температуре, когда кровь человека обращается в лед, в лунном холоде, в стылых кристаллах, на планете синей мерзлоты.

«Луг, три носорога, полкатафалка, вот описание. Может быть, воспоминания, может, пророчества. Вряд ли я стану заканчивать этот абзац».

Вариации бесконечны. Синяя река, красный парасоль, раскрытый над белым яликом в Вальвене, черное мраморное надгробие, усыпанное гвоздиками. Я заканчиваю предложение, где пожелаю. Оно удерживает безграничные возможности, порожденные сочетанием образов, которые можно переставлять сколько угодно.

Скажут, что я кончил в сумасшедшем доме, что мой роман – поток раскаленной лавы: безумный, черный, всепожирающий. Вовлеченность фантазии этого требует: требует, чтобы автор мчался вниз вместе с потоком, а не стоял в стороне, управляя работой независимо от своего существа.

Обитай я сейчас в Монтевидео, я бы держался поближе к морю. Оно бы не излечило меня, но волна звука, что оберегает, отрезает от мира, подняла бы меня высоко-высоко в чистый, слепящий свет. В Париже море бьется в мое окно, лишь когда идет снег или светлое апрельское небо проливается сверкающим ливнем.

Время от времени санитары в белых халатах с красными крестами на рукавах пробегают с носилками туда, где слышатся взрывы. Восстание пока не грянуло. Лишь у меня в мозгу вращается огненный конус Парижа. Я редко ем. А когда выпиваю вина, мой разум плывет в алкогольном море, подобно багряной рыбе.

Сижу, кутаясь в одеяло; я уверен, что умрет Изидор Дюкасс, а не граф де Лотреамон. Это он всегда был под сомнением – Изидор, который так и не смог отцепиться от матери и которого в последний раз видели неподалеку от Монтевидео: он мчался на лошади без седла по зеленому лугу. Только меня уже здесь не будет, чтобы жить Лотреамоном, оторвавшимся спутником, что сидел по ночам за пианино – своим письменным столом и творил жизнь Мальдорора. Вымыслы живут, как бумажные тигры: резонансы оживают в черном и красном пламени, когда правильное поколение сцеживает кровь на страницу.

Я мог бы придумать себе смерть: повествование от лица человека без личности – смерть, настолько далекую от наших представлений о конце, что она изменила бы саму концепцию умирания. Но я

утверждаю, что это вымысел, поскольку ближе подойти к реальности невозможно.

Моя придуманная смерть предполагает и вымышленную жизнь, но решать тебе, читатель. Я сознаю только «здесь и сейчас», в этих ультрафиолетовых лотах, погруженных в глубины подсознания, в медленных инфракрасных проявлениях рассудка. Чтобы развлечь тебя, я предлагаю смерть, которая может быть, а может и не быть правдоподобна, – как она случится, зависит от способности языка подделать реальность.

Все начинается с эффекта концертино. Ночью рушится фронтон, на миг зависает в воздухе, пытаюсь удержаться горизонтально, а потом с грохотом плашмя падает на мостовую. В это время ты спишь, и грохот мнится тебе шумом прибоя, что бьется о галечный пляж. Может быть, ты находишься глубже, вновь тебе снится, что ты – водяное яйцо в материнской утробе, и потрясение материнского организма передается вселенной, сотрясающейся в катаклизме. Гул ужасен – он порождает вибрации, что едва не выталкивают тебя наружу. Но громкость его не меняется. Ты пытаешься связать этот грохот со сном, бросаешься в водоворот обломком погибшего корабля, только вода не уходит в глубину, увлекая тебя за собой, но пребывает в воздухе, жестком, сгущенном где-то на уровне крыш, а потом ты продираешься к бодрствованию и видишь, что алое пламя уже озарило ночное небо. На этот раз – ближе. На соседней улице. Должно быть, горит табачная лавка, хозяин живет на втором этаже, там все пылает. Маленький человечек из Польши, всегда пропыленный черный костюм, в подвале – печатный пресс. Раньше печатал порнографические брошюры, садомазохистские книжки с откровенными литографиями, на которых молоденьких девушек усмиряют кнутом. Под пеной их взъерошенных нижних юбок виднелись черные

чулки на подвязках, которыми он явно был одержим. Интересно, он успел выбраться из горящего дома или же спал и уже не увидел, как в огне корежатся одеяла?

Пожар – действительное событие в моем скольжении к слиянию с вымыслом. «Мальдорор» – шесть песен, объявивших вымышленную вселенную, превратились в бумагу и печатную краску. Те экземпляры, что еще существуют, сгорят в городских пожарах.

Меня преследуют воспоминания. Скрываемая хромота отца, искрящиеся крупинки маминой пудры, лиловый полумесяц под левым глазом мсье Фламариона и стилет в ножнах, закрепленных на лодыжке, – как я увидел его в первый раз, стоя перед Дамой Червей. И кто же реален? Те, кто жил в моей голове, заключенные в деталях, вдавленных в клетки памяти, или эти живые организмы, влачащие свои дни здесь и теперь, не ведающие, что я сохраняю то, о чем они позабыли, захваченные новыми впечатлениями, когда вышли из портика под густой тенью лаймов на яркий солнечный свет?

Я пытаюсь себя убедить, что есть способ исчезнуть, более подобный жизни, чем смерти. Если нам удастся продлить повествование, может, мы выйдем на той стороне и составим свой план бытия, как человек, перешедший ручей, оставляет цепочку мокрых следов на песке. Что-то непременно останется, хотя бы чуть-чуть: шаг правой ногой, шаг левой, снова правой, отчетливый след, менее четкий след левой, а потом – исчезновение. Но этих считанных отпечатков довольно, чтобы найти дорогу к памяти. По одним этим следам сможем мы переосмыслить жизнь, промечтать ее снова, сглаживая острые углы, и остаток обернется переливчатым серебром, волшебным светом в детстве, когда мы просыпаемся очень рано и на яблоне поет черный дрозд, и на долю секунды песня его – наша единственная связь с сознанием.

В разрывах между шумом – тишина. Поскольку теперь я творю в уме, ничего не доверяя бумаге в моей пустой голой комнате, я изобрел новый метод сочинительства – он требует предавать памяти визуальные вспышки. Сохранять их, как умозрительные фотографии.

Такова моя концепция будущего романа: повествования, что резонирует внутри, складывается из внутренних образов, и продолжится, когда я выйду

144

по ту сторону света. Я начал придумывать диалог с моей тенью. Мы с ним живем независимо от продвижения войск, осады, грохота ускоряющихся шагов по улицам. Мой замысел компенсирует невозможность играть на пианино. Я коротаю часы, сочиняя рассказ о неимоверной смерти.

Смерть представлялась ему созвездием в грядущем. Чтобы добраться туда, нужно совершить путешествие. В комнату залетела трупная муха, толстая в солнечном луче, вся в синих разводах, будто испачканная чернилами, ее прозрачные крылышки трепетали; он уверился, что смерть ближе, чем этот комок синей дрожи, ибо смерть была внутри, и чтобы приблизиться к ней, не требовалось странствий. Он ведь однажды уже пережил смерть? Разве он не самозванец, что безжалостно подавил и ниспровергнул чужую жизнь, разве не должен он был извлечь урок из чужой смерти? Это Изидор Дюкасс спорил с ним в синем солнечном свете; по некоему пагубному промыслу он вернулся и требовал возмещения за то, что никогда не жил. Лотреамон терял силу. Должно быть, он долго лежал в лихорадке, потому что когда попытался встать, ему почудилось, будто он соткан из света. Он мог бы летать по комнате – надо только позволить себе взлететь. Это так просто. Потолок доступен, как пол, – надо только легонько оттолкнуться, и ты там, глядишь сверху на развороченную постель.

Наверное, кто-то входил к нему в комнату: на столике у кровати стояла тарелка с супом. Надо найти записи, подумал он первым делом – руки инстинктивно зашарили под кроватью, и только потом вспомнил он о своем новом методе сочинения в уме. Про себя он уже восстанавливал визуальный рассказ; выстраивал по порядку, вновь разбирал на куски и сопрягал их друг с другом в сочетаниях несовместных образов.

В комнате был кто-то еще. Он, должно быть, вышел из ноябрьской мглы, ибо одежда его пропахла холодным туманом и дымом – запах, который приносит кошка из ночи травы, мокрых листьев, плесени на стропилах амбара. Молодой человек был неестественно высок; он сильно сутулился, его зеленые глаза выглядывали из-под челки цвета соломы, которую он то и дело безотчетно отбрасывал со лба. Он нервничал, мялся; он явно пришел с какой-то целью. Он разглядывал себя в овальном зеркале, где я разыгрывал театр теней. Я наблюдал, как его образ затвердевает и остывает. Он вмерз в отражение, точно лед, повторяющий контур пруда. Лицо его размышляло: серьезное, сосредоточенное, оно словно убивало все неясности и наконец приняло решение. Я отметил, как безукоризненно он одет: белая рубашка, черный костюм, мягкие туфли, которые не пометила улица, – он был одет именно так, как оделся бы я сам. В жестах его сквозили и вызов, и страх. Он подошел к окну, будто давно знал этот вид, и, опершись локтями о подоконник, долго созерцал зимнюю панораму. Должно быть, он часто так делал за годы, что я прожил здесь, потому что его движения выдавали знакомство с комнатой, привычку к пространству, расчет шагов, приноровившихся к этим размерам. У него были холеные руки; единственный изъян – пятнышко синих чернил на правом указательном пальце, словно роза уколола шипом. На миг мне показалось, что он собрался допрашивать меня о рукописи. Кто этот безумец

145

Мальдорор? Сколь многочисленны его извращенные преступления против человечества? Я слышал невысказанные вопросы: они гремели в пространстве беззвучным, но смертоносным стаккато. Он устанавит мою вину: я призывал к психологическому перевороту вселенских масштабов. Я посмел предвосхитить будущее – мое воображение выкурило пчел из улья, и злобный черный рой возмущенно гудит. Было вполне очевидно, что молодой человек – осведомитель, переводчик, сотрудник военной полиции. Он явит неумолимое терпение и расчетливую холодность в своей убежденности, неколебимую веру, что я признаю его приговор – соглашусь, будто книга моя порождена безумием.

Он по-прежнему смотрел в окно. Лиловые сумерки сгустились в плотное иссиня-черное море. Единственная звезда водянисто мерцала на небе, потом их стало две, а потом пошел дождь – торопливо забарабанил по крышам, застучал в окно, точно осколки сверкающего хрусталя на стекле. На мгновение я перенесся в отцовский дом, вдохнул возбуждающий запах морского ветра и услышал, как Альма закрывает ставни на ночь. И я мчался по темному пляжу, силясь обогнать этого человека, чье лицо обрело утонченные черты незнакомца, который явился ко мне на чердак, словно к себе домой.

Мне было страшно. Он снял облегающую черную куртку и остался в одной рубашке. Распустил красный галстук, аккуратно разгладил и сложил в петлю. На миг мы встретились глазами, и его сосредоточенность вонзилась мне в мозг, будто гвоздь, вбитый с размаху тяжелым молотком. Кто-то из моих последних гостей рассказал, что однажды видел, как толпа вешала на фонарном столбе какого-то юношу. Прежде чем его вздернуть, ему нарумянили щеки и покрасили губы. Они играли с ним целый день, как с марионеткой: раскачивали мертвое тело взад-вперед, наподобие

детских качелей, или из стороны в сторону, словно маятник. Толпа забавлялась, никто не хотел расходиться; они были как стая голодных шакалов, что жаждут обглодать кости дочиста.

Когда я снова взглянул на него, он взирал мне в глаза, дышал в лицо, надвигаясь в бесконечной неподвижности. На меня что-то давило. Я словно погружался под воду, я боялся заснуть до того, как сумею пробиться к поверхности. Все дальше вниз, в глубину, по обжигающей спирали – грани воды одна за другой рассыпались взрывными призмами. Я видел страницы моей книги – они кружились в водяном вихре, но краска не расплывалась. То был бумажный танец, листы хореографически складывались в симметричную геометрию – то пирамида, то пентаграмма, то шестиугольник, – и истощенная фигура танцора внезапно схлопнулась в книжный прямоугольник.

И чем сильнее становилось давление, тем спокойнее мне было. Меня уносило туда, куда не проникнет незванный гость. Все затоплял свет, текучая подвижность, ослепительное ядро пульсировало сияющей энергией солнца. Я оказался за пределами боли еще прежде, чем он разжал руки. С потолка я наблюдал, как он надел куртку, сбежал вниз по лестнице и затерялся в толпе мятежников, что разлилась по улице.

ИЗДАТЕЛЬСТВА
“KOLONNA PUBLICATIONS” и «МИТИН ЖУРНАЛ»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

Джереми Рид
В ПОГОНЕ ЗА ЧЕРНЫМИ РАДУГАМИ

Поэтическая реконструкция последних лет жизни Антонена Арто. В книге переплетаются монологи самого Арто, его психиатра Гастона Фердьера, жены Генри Миллера Джун и нимфоманки Дениз Х., которую Арто встретил в психиатрической больнице Родез в годы Второй мировой войны. Пятый персонаж романа, Анаис Нин, повторяет историю своих увлечений, рассказанную в исповеди «Инцест».

Жорж Батай
ПРОЦЕСС ЖИЛЯ ДЕ РЭ

«Процесс Жилья де Рэ» – исторический труд, над которым французский философ Жорж Батай (1897–1962) работал в последние годы своей жизни. Фигура, которую выбрал для изучения Батай, широко известна: маршал Франции Жиль де Рэ, соратник Жанны д’Арк, был обвинен в многочисленных убийствах детей и поклонении дьяволу и казнен в 1440 году. Судьба Жилья де Рэ стала материалом для фольклора (его считают прообразом злодея из сказок о Синей Бороде), в конце XIX века вдохновляла декадентов, однако до Батая было немного попыток исследовать ее с точки зрения исторической науки.

ИЗДАТЕЛЬСТВА
“KOLONNA PUBLICATIONS” и «МИТИН ЖУРНАЛ»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

Александр Ходоровский
ПОПУГАЙ С СЕМЬЮ ЯЗЫКАМИ

Члены «Общества цветущего клубня» – поэты, паяцы и блудницы, затерявшиеся в психоделических ландшафтах параллельного Чили, переходят из одного трипа в другой. Они умирают и воскресают по воле Александр Ходоровского, легендарного кинорежиссера, мима, психошамана, исследователя языка Таро и создателя эзотерических комиксов. «Попугай с семью языками» – книга, получившая во Франции Премию черного юмора, впервые публикуется в России.

Ладислав Клима
СТРАДАНИЯ КНЯЗЯ ШТЕРНЕНГОХА

В 1928 году, когда «Страдания князя Штерненгоха» впервые увидели свет, члены профсоюза чешских учительниц отказались от подписки на книжную серию «Плеяда», в которой была опубликована эта книга, поскольку «не покупают порнографию ради красивой обложки». Сам Ладислав Клима говорил, что его роман «в 10 раз реалистичнее и отвратительнее, чем Золя, в 10 раз фантастичнее, чем Гофман, в 10 раз непристойнее, чем Казанова, в 10 раз извращеннее, чем Бодлер, короче говоря – аморальность, хулиганство и безумие».

**ИЗДАТЕЛЬСТВА
“KOLONNA PUBLICATIONS” И «МИТИН ЖУРНАЛ»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:**

Антонен Арто
ТАРАУМАРА

Тараумара – племя индейцев, живущих на севере Мексики, в штате Чиуауа. В 1936 году Антонен Арто отправился к ним, чтобы изведать «путь Сигури» – приобщиться к тайнам жрецов, использующих в своих ритуалах галлюциноген пейотль. Над книгой о своем опыте Арто начал работать в психиатрической лечебнице, в которую был заключен вскоре после возвращения из Мексики.

Антонен Арто
ГЕЛИОГАБАЛ

Антонен Арто более всего известен как легендарный основатель Театра Жестокости, выдающегося проекта, полностью изменившего природу театра и перформанса, а также как поэт-сюрреалист и кинорежиссер. В 1933-м году издатель Робер Деноэль предложил Арто написать биографию Гелиогабала. Книга Арто отражает его собственные интересы наравне с теми, которые были свойственны Гелиогабалу. «Я написал эту „Жизнь Гелиогабала“ так, как я проговорил бы ее, словно пересказывая. Я также написал ее, чтобы помочь читателям слегка разучиться истории, но в то же время уловить ее нить».

**ИЗДАТЕЛЬСТВА
“KOLONNA PUBLICATIONS” И «МИТИН ЖУРНАЛ»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:**

Джеймс Парди
Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Юная столетняя наследница нефтяного состояния нанимает истекающего кровью двадцатидевятилетнего стареющего негра, чтобы тот следил за ее возлюбленным – девяностолетним актером Илайджей Трашем. Однако объект ее страсти любит только одно существо: своего немого правнука. Впервые на русском языке сюрреалистический роман крупнейшего американского прозаика.

Альфред Дёблин
ПОДРУГИ-ОТРАВИТЕЛЬНИЦЫ

В марте 1923 года в Берлинском областном суде слушалось сенсационное дело об убийстве молодого столяра Линка. Виновными были признаны жена убитого Элли Линк и ее любовница Грета Бенде. Присяжные выслушали 600 любовных писем, написанных подругами-отравительницами. Процесс Линк и Бенде породил дискуссию в печати о порочности однополрой любви и вызвал интерес психоаналитиков. Заинтересовал он и крупнейшего немецкого писателя Альфреда Дёблина, который восстановил в своей документальной книге драматическую историю Элли Линк, ее мужа и ее любовницы.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «KOLONNA PUBLICATIONS»

можно приобрести в Москве:

«Проект ОГИ» Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2
«Ад Маргинем» 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7
«Фаланстер» Малый Гнездиновский переулок, д. 12/27
«Гилея» Нахимовский пр-т, д. 51/21,
«Дом Книги на Ладужской» ул. Ладужская, д. 8
«Молодая гвардия» ул. Б. Полянка, д. 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Букбери» сеть книжных супермаркетов
«Республика» 1-я Тверская-Ямская, д. 10
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Клуб 36, 6» Рязанский пер., д. 3

в Петербурге:

«Петербургский Дом книги» Невский пр., д. 28
«Буквоед» сеть магазинов
«Индиго» Невский пр., д. 32-34
ДК им. Крупской, стенд фирмы «Ретро»

через Интернет:

“Ozon” ozon.ru
“Esterum” esterum.ru
“Petropol” petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

По вопросу оптовых продаж
обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ», тел. (495) 104-6836

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Джереми Рид
ИЗИДОР

KOLONNA PUBLICATIONS. Россия, Тверь, а/я 2448
Подписано в печать 08. 04. 2008. Тираж 1000 экз. Заказ № 112
Формат 70x100/32. Объем 9,5 п. л. Гарнитура ITC SHARTEP
Подготовлено на оборудовании APPLE MACINTOSH
Отпечатано в Котовской типографии
403800, Волгоградская обл., г. Котово,
ул. Коммунистическая, д. 84. Тел. (255) 4-49-10, 2-23-91